

Зов Ктулху (сборник)

Автор:

Говард Лавкрафт

Зов Ктулху (сборник)

Говард Филлипс Лавкрафт

Мастера магического реализма (АСТ) Мифы Ктулху

При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после смерти став кумиром как массового читателя, так и искушенного эстета и неиссякаемым источником вдохновения для кино- и игровой индустрии; его называли «Эдгаром По XX века», гениальным безумцем и адептом тайных знаний; его творчество уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный поджанр; им восхищались Роберт Говард и Клайв Баркер, Хорхе Луис Борхес и Айрис Мёрдок.

Один из самых влиятельных мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и «Мифов Ктулху» – Говард Филлипс Лавкрафт.

Говард Филлипс Лавкрафт

Зов Ктулху

© Д. Афиногенов; О. Колесников;

© Ю. Соколов; Е. Любимова, наследники,

© перевод на русский язык

Дагон

Я пишу эти слова в состоянии понятного умственного напряжения, ибо сегодня вечером меня не будет в живых. Оставшийся без гроша, и даже без крохи зелья, которое одно делает мою жизнь терпимой, я не могу более переносить это мучение и скоро выброшусь из чердачного окна на нищую мостовую. И если я раб морфия, не надо считать меня слабаком или дегенератом. Прочитав эти торопливо набросанные строки, вы можете догадаться, хотя, наверное, никогда полностью не поймете, почему я добиваюсь забвения или смерти.

Случилось, что посреди одной из наиболее открытых и редко посещаемых частей широкого Тихого океана пакетбот, на котором я был суперкарго, пал жертвой германского рейдера. Великая война была тогда в самом начале, и океанский флот гуннов еще не успел достичь тех глубин падения, к которым ему суждено было опуститься потом; поэтому наше судно было объявлено законным призом, а к экипажу отнеслись с теми справедливостью и вниманием, которых требовало наше положение военнопленных. Победители установили на борту настолько либеральные порядки, что через пять дней после захвата я сумел ускользнуть в небольшой шлюпчонке, захватив с собой достаточное количество воды и провизии.

Оказавшись наконец на воде и в полной свободе, я не имел особо точного представления о том, где нахожусь. Не будучи компетентным навигатором, я мог только догадываться по солнцу и звездам, что нахожусь к югу от экватора. Долгота известна мне не была, а островов или берегов вблизи не было видно. Погода была ясной, и несчетные дни я бесцельно дрейфовал под обжигающим солнцем, ожидая, пока меня подберет проходящий корабль либо прибьет к берегам какой-нибудь населенной земли. Однако не появлялось ни корабля, ни земли, и я уже начал отчаиваться, оставаясь в уединении на неторопливо вздыхающем синем просторе.

Перемена произошла, пока я спал. Подробности ее так и остались неизвестными для меня, ибо мой сон, хотя и тревожный и полный сновидений, так и не прервался.

Когда я наконец пробудился, оказалось что меня засасывает в адски черную, полную слизи лужу, монотонно колыхавшуюся во все стороны от меня, куда достигал взгляд, а лодка моя лежала на ней как на суше неподалеку.

Хотя можно подумать, что моим первым ощущением при виде столь неожиданного и огромного преобразования окрестностей должно было стать удивление, на самом деле я скорее пребывал в ужасе, чем был удивлен, ибо в воздухе и в гнилой почве присутствовало нечто злое, пробравшее меня до глубины души. Вокруг валялись гниющие мертвые рыбыны, а посреди отвратительной грязи бесконечной равнины торчали и менее понятные останки. Возможно, не стоит и пытаться передать простыми словами ту неизреченную мерзость, которая обитала в этом абсолютно безмолвном и бесплодном просторе. Слух не улавливал звуков, а зрение – ничего иного, кроме бесконечной черной грязи со всех сторон; и все же сама полнота тишины и однородность ландшафта вселяли в меня тошнотворный страх.

Солнце пылало на небесах, уже казавшихся мне черными в своей безоблачной жестокости и словно бы отражавшихся в чернильной болотине под ногами. Перебравшись в оказавшуюся как бы на суше лодку, я подумал, что положение мое способна объяснить лишь одна теория. Какой-то беспрецедентный вулканический выброс вынес на поверхность часть океанского дна, обнажив область его, которая в течение бесчисленных миллионов лет оставалась скрытой в неизмеримых водяных глубинах. И настолько велика была сия поднявшаяся подо мной земля, что, усердно напрягая слух, я никак не мог уловить даже слабого отзвука доносящихся издали рокочущих океанских волн. Не было видно и чайек, охотящихся за мертвечиной.

Несколько часов я сидел в лодке, лежавшей на боку и дающей некоторую тень по мере того, как солнце ползло по небу. С течением времени почва потеряла долю своей липкости и достаточно подсохла, чтобы по ней можно было пройти. В ту ночь я спал немного, и на следующий день приготовил себе поклажу из пищи и воды, собираясь в сухопутное путешествие в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва высохла настолько, что по ней можно идти без труда. От рыбной вони можно было сойти с ума; но я был озабочен вещами куда более серьезными, чтобы обращать внимание на столь мелкое зло, и потому отправился к неведомой цели. Весь день я упорно шагал на запад, в сторону пригорка, казавшегося выше прочих на гладкой равнине. Ночь я провел под открытым небом, а на следующий день все еще шел в сторону пригорка, и цель моего пути едва ли казалась ближе, чем когда я впервые заметил ее. На четвертый вечер я приблизился к основанию холма, оказавшегося много выше, чем это казалось мне издали, и отделявшая меня от него долина еще резче выделяла бугор на ровной поверхности. Слишком усталый для восхождения, я задремал в тени его.

Не знаю, почему сны мои в ту ночь оказались настолько бурными; но прежде чем фантастический лик убывающей горбатой луны восстал над восточной равниной, я пробудился в холодном поту, решив не смыкать более глаз. Тех видений, что я только что пережил, было для меня довольно. И в свете луны я понял, насколько неразумным было мое решение путешествовать днем.

Без обжигающих лучей солнца путь не стоил бы мне таких затрат энергии; в самом деле, я уже чувствовал в себе достаточно сил, чтобы решиться на устрашавший меня на закате подъем. Подобрал пожитки, я направился к гребню возвышенности.

Я уже говорил о том, что ничем не прерывавшаяся гладь монотонной равнины вселяла в меня непонятный ужас; однако кошмар этот сделался еще более тяжким, когда, поднявшись на вершину холма, я увидел по ту сторону его неизмеримую пропасть, каньон, в чьи темные недра не могли проникнуть лучи еще невысоко поднявшейся луны. Мне казалось, что я очутился на самом краю мира, что заглядываю за край бездонного хаоса и вечной ночи. В ужасе припоминал я уместные строки «Потерянного рая»[1 - Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека – Адама.], повествующие о жутком подъеме Сатаны через бесформенные области тьмы.

Когда луна поднялась на небе повыше, я увидел, что склоны долины оказались не столь отвесными, как мне только что привиделось. Карнизы и выступы скал предоставляли достаточную опору для ног, и когда я спустился на несколько сотен футов, обрыв превратился в весьма пологий откос. Повинуясь порыву, истоки которого я положительно не могу определить, я не без труда спустился с

камней на ровный склон под ними, заглядывая в стигийские бездны, куда еще не проникал свет.

И тут вдруг мое внимание приковал к себе громадный и одинокий объект, круто вырвавшийся на противоположном склоне передо мной; объект, блеснувший белым светом под только что нисшедшими к нему лучами восходящей луны. Я скоро уверил себя в том, что вижу всего лишь громадный камень, но при этом осознавал, что очертания и положение его едва ли были делом рук одной только Природы. Более близкое исследование наполнило меня ощущениями, которые невозможно выразить; ибо несмотря на огромный размер и положение в пропасти, разверзшейся на дне моря в те времена, когда мир был еще молод, я без доли сомнения понимал, что вижу перед собой обработанный монолит, над боками которого потрудились руки мастеров; камень, быть может, знавший поклонение живых и разумных существ.

Потрясенный и испуганный, и все же на самую каплю наполненный восторгом исследователя-археолога, я огляделся уже повнимательнее. Призрачный свет луны, теперь стоявшей почти в зените, падал на крутые стены, заключавшие между собой пропасть, открывая тот факт, что по дну ее в обе стороны от моих ног, едва не касаясь их, простирался широкий водоем. На той стороне пропасти мелкие волны омывали подножие циклопического монумента, на поверхности которого я теперь мог различить надписи и примитивные скульптурки. Письмена были выполнены неизвестными мне иероглифами, непохожими на все, что случалось мне видеть в книгах; в основном они изображали некие обобщенные символы моря: рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и тому подобное. Несколько знаков, очевидно, изображали неизвестных современному человеку морских тварей, чьи разлагающиеся тела видел я на подымавшейся из океана равнине.

Однако более всего меня заворожили высеченные на камне рисунки. Ясно видимые за разделявшим нас водоемом благодаря свое колоссальной величине, располагались барельефы, темы которых были способны породить зависть Доре[2 - Доре Гюстав (1832-1883) – французский гравер, иллюстратор и живописец.]. Думается, что эти фигуры должны были изобразить людей – во всяком случае, некую разновидность людей; хотя существа эти были изображены резвящимися как рыбы в водах какого-то морского грота или же поклоняющимся какому-то монолиту, также как будто бы находившемуся под волнами. О лицах и очертаниях их не стану рассказывать, ибо меня мутит от одного воспоминания. Гротескные силуэты, превышающие возможности

воображения Эдгара По или Бульвер-Литтона, мерзостно напоминали людей, невзирая на перепонки на руках и ногах, неприятно широкие и дряблые губы, стеклянистые выпуклые глаза и прочие черты, еще менее приятные для памяти. Забавно, однако, что они были изображены без соблюдения пропорций с их окружением, ибо одно из созданий на рельефе убивало кита, изображенного всего лишь чуть более крупным, чем эта самая тварь. Отметив, как я уже сказал, гротескный облик и странную величину этих существ, я немедленно решил, что вижу перед собой воображаемых богов племени неких примитивных рыболовов и мореходов, принадлежавших к племени, последний потомок которого сгинул за эры до появления на свет первого из предков пильтдаунского или неандертальского человека. Потрясенный неожиданным откровением, выходящим за рамки воображения самого отважного из антропологов, я стоял, размышляя, а луна рассыпала странные отблески на воды лежавшего предо мной безмолвного протока.

И тут я внезапно увидел – это. Оставив лишь легкое кружение на воде, тварь поднялась над темными водами. Огромная, как Полифем, и мерзкая, явившись из кошмара чудовищем она ринулась к монолиту, обхватила его гигантскими чешуйчатыми руками и, склонив к камню жуткую голову, принялась издавать какие-то размеренные звуки. Тут я и расстался с рассудком.

Я мало что помню о своем отчаянном подъеме по склону и по утесу, и о прошедшем в лихорадочном возбуждении возвращении к оставленной шлюпке. Кажется, я много пел, а когда не мог петь, хохотал, как безумный. Смутно помню великий шторм, разразившийся через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, точно знаю, что слышал громовые раскаты и прочие звуки, которые Природа производит лишь пребывая в самом бурном настроении.

Выбрался я из забвенья только в госпитале – в Сан-Франциско, – куда меня доставил капитан американского корабля, обнаруживший мое суденышко среди моря-океана. Пребывая в болезненном возбуждении, я говорил много, однако понял, что на мои слова никто не обращает внимания. Спасители мои слухом не слышали о том, чтобы в Тихом океане понималась со дна какая-то суша, да и сам я не считал необходимым настаивать на факте, в который они просто не могли поверить. После я разыскал прославленного этнолога и изумил его странными вопросами, касающимися древней филистимской легенды о Дагоне, Боге-Рыбе; но вскоре, поняв, что собеседник мой безнадежно банален, не стал рассказывать о своем открытии.

Именно ночью, особенно когда горбатая луна убывает, я вижу эту тварь. Я пробовал морфий; увы, наркотик дарует лишь временное облегчение, но тем не менее он уже сделал меня своим безнадежным рабом. И теперь я намереваюсь покончить с этим, оставив полный отчет для информации или пренебрежи увеселения своих собратьев-людей. Часто я спрашиваю себя о том, не было ли это событие чистым фантазмом... болезненным видением, порожденным лихорадкой, пока я лежал в забытьи, рожденным солнечным ударом и бредом в открытой лодке после бегства с немецкого военного корабля. Так я спрашиваю себя, однако ответом на вопрос всегда является отвратительное и яркое видение. Я не могу представить себе открытого моря, не пожившись при мысли о тех безымянных тварях, которые в этот самый момент могут ползать и рыться на его илистом дне, почитая своих древних каменных идолов и высекая собственные отвратительные подобию на подводных обелисках из омытого водой гранита. И мне все мнится тот день, когда они восстанут над прибрежными бурунами, чтобы унести в своих вонючих когтях остатки ничтожного, утомленного войной человечества, – тот день, когда потонет суша, а мрачное океанское дно восстанет посреди вселенского пандемониума.

Конец близок. Я слышу шум возле двери, какое-то склизкое тело всей своей тушей наваливается на него. Тварь отыщет меня. Боже, какая ручища! Окно! Окно!

1919

Безымянный город

Я знал, что над безымянным городом, к которому я приближался, тяготеет проклятие. Я ехал по выжженной, залитой лунным светом долине и уже различал вдалеке очертания городских строений, что выступали из песка, словно трупы из плохо засыпанных могил. Искошившиеся от времени камни этого пережитка прошлого, прадеда древнейших пирамид, как будто источали страх. Ужас, встававший у меня на пути невидимой преградой, замедлял поступь моего верблюда; мне казалось, некто убеждает меня отступить, не доискиваться зловещих тайн, которые не открывались никому и никогда.

Безымянный город располагался в самом сердце Аравийской пустыни, его полуразрушенные стены были теперь немногим выше песчаных дюн. Он погиб еще до того, как были заложены первые камни Мемфиса или обожжены первые кирпичи Вавилона. Не существует предания столь древнего, что могло бы поведать о его названии или о той поре, когда в нем кипела жизнь. Однако слухи об этом городе передаются шепотом из уст в уста у костров простолюдинов и в шатрах шейхов, и кочевники сторонятся его, не зная сами почему. Именно о нем безумный поэт Абдула Альхазред грезил той ночью, когда сложил свой исполненный темного смысла стих:

Над чем не властен тлен, то не мертво,

Смерть ожидает смерть, верней всего.

Мне следовало бы знать, что у арабов есть веские основания обходить безымянный город стороной. О, этот город, породивший множество легенд! Никто из людей не может похвалиться тем, что видел его воочию. Да, мне следовало бы послушать арабов, однако я пренебрег их советами и, оседлав верблюда, отправился в пустыню. И добился своего: я единственный зрел безымянный город, и оттого на лице моем навеки запечатлелся страх, оттого я вздрагиваю, когда по ночам хлопает ставнями ветер. Я набрел на него, застывшего в ненарушимой тишине бесконечного сна; он явился мне в холодных лучах луны среди пышущей жаром пустыни. Глядя на него, я понял: моя радость от того, что поиски увенчались успехом, куда-то улетучилась; я расседлал верблюда и решил дожждаться рассвета.

Час проходил за часом. Наконец небо на востоке посерело, звезды померкли в свечении розовой полосы с золотой каймой. И тут я услышал стон. Должно быть, несмотря на то, что небосвод был чистым, а в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, мне угрожала опасность быть застигнутым песчаной бурей. Внезапно над дальним краем пустыни возникла ослепительная кромка солнечного диска. На какое-то мгновение его заволокло взвихренным песком, и мне, в моем смятенном состоянии, почудилось, будто из неведомых глубин донесся мелодичный звон. Он словно приветствовал светило, подобно Мемнону на нильских берегах. Кое-как обуздав разыгравшееся воображение, я повел верблюда к городу, который не видел никто, кроме меня.

Я долго бродил по развалинам, не находя ни изваяний, ни надписей, которые рассказали бы мне о тех людях – людях ли? – что построили в незапамятные

годы этот город и жили в нем. В самой древности места было нечто нездоровое, и мне хотелось отыскать хотя бы одно свидетельство того, что этот город – творение человеческих рук. Его руины отличались такими пропорциями и размерами, что показались мне поистине странными, если не сказать больше. Я прихватил с собой кое-какой инструмент, а потому принялся за раскопки внутри обвалившихся зданий. На первых порах ничего интересного мне не попадалось. Потом, вместе с лунной ночью, возвратился холодный ветер; он принес с собой страх, и я не осмелился остаться на ночевку в пределах городских стен. Только я пересек незримую границу, за моей спиной взвился и пронесся по серым камням смерчок, который взялся неизвестно откуда – ведь на небе ярко светила луна, а пустыня хранила величественный покой.

Проснулся я на рассвете и с немалым облегчением, ибо ночь напролет меня доносили кошмары. В голове моей звучал металлический звон. Над безымянным городом бушевала песчаная буря, сквозь пелену которой виднелось багровое солнце, но вокруг все было по-прежнему тихо и спокойно. Выждав, пока она утихомирится, я вновь устремился к обломкам седой старины, что едва проступали из-под песка, укрывавшего их исполинским ковром, и потратил все утро на бесплодные поиски реликвий древнего народа. В полдень я передохнул, а после долго ходил по засыпанным улицам и пробирался вдоль крепостных стен, нанося на карту местонахождение почти исчезнувших строений. Я установил, что город и впрямь был когда-то велик, восхитился его былым могуществом и попробовал вообразить себе чудеса, которых он был полон в минувшие дни и которых не застала даже Халдея. Мне почему-то вспомнился обреченный Сарнат, гордость человечества и столица края Мнар, я подумал о вырубленном из серого камня Ибе, который существовал за много тысячелетий до появления на свете людей.

Совершенно неожиданно для себя я вышел к выступавшей из-под песка скале. Меня охватил восторг, ибо я наконец-то увидел то, что предвещало, как мне хотелось верить, обнаружение следов, оставленных загадочными жителями города. В скале имелось отверстие – наверно, то был вход в храм, где скрываются тайны эпохи, слишком от нас далекой, чтобы мы могли назвать ее по имени. Скорее всего, на поверхности невысокого утеса высечены были буквы или фигуры, однако песчаные бури потрудились на славу: камень на ощупь был ровным и гладким.

Рядом виднелись и другие отверстия, но я остановил свой выбор на том, какое попало мне на глаза первым. Раскидав лопатой песок у входа и прихватив с

собой факел, я заполз в мрачный ход, который вывел меня в пещеру, очевидно служившую когда-то храмом и содержавшую предметы, что принадлежали, по-видимому, тем, кто молился тут еще до того, как пустыня стала пустыней. Я различил примитивные алтари, колонны, странно невысокие ниши, многочисленные камни, чья причудливая форма свидетельствовала о том, что их касался инструмент каменотеса, но не заметил ни фресок, ни статуй. Своды пещеры были весьма низкими – я едва мог выпрямиться, даже стоя на коленях, – однако стены отстояли друг от друга на столь значительное расстояние, что свет моего факела выхватывал из мрака лишь крохотную часть скалистого грота. Продолжая осматриваться, я невольно вздрогнул: некоторые алтари своим видом наводили на мысль об ужасных, неопишуемых древних обрядах и вынуждали задуматься над тем, какие же существа приходили некогда молиться в этот храм. Удовлетворив любопытство, я выбрался наружу; мне хотелось до наступления темноты заглянуть в соседние отверстия.

Над руинами уже сгущались сумерки, однако, будучи человеком любознательным, тем более мое воображение было подстегнуто открытием храма в скале, – я переборол страх и не стал убегать от длинных лунных теней, которые так напугали меня накануне. Расчистив другой вход, я взял новый факел и заполз туда. Внутри я нашел камни и алтари, как две капли воды схожие с теми, какие находились в первой пещере. Своды этой были такими же низкими, однако остальными размерами она сильно уступала гроту, с которого я начал осмотр, и заканчивалась узким коридором: вдоль стен его выстроились во множестве загадочные ковчеги. Едва я приблизился к ним, мое внимание привлек донесшийся снаружи звук, в котором я узнал крик своего верблюда; животное словно звало на помощь, и я поспешил к нему, гадая, что могло вселить в него страх.

На небе сияла луна, заливая призрачным светом руины, над которыми висела густая пелена песка, поднятого в воздух резким, но, судя по всему, постепенно стихающим ветром. Я догадался, что именно порывы ветра и обеспокоили верблюда, и собирался уже отвести животное в укрытие понадежнее, когда мой взгляд отметил некую маленькую несообразность в окружавшем меня пейзаже: на вершине утеса, у которого я стоял, ветра как будто не было. Я изумился и где-то даже испугался, но тотчас припомнил те ветры, что буйствовали над городом на рассвете и на закате, и решил, что подобное здесь в порядке вещей. Мне подумалось, что диковинный ветер вырывается, должно быть, из какой-нибудь трещины в скале, и я направился на ее поиски, ориентируясь по свеженаметенному песчаному гребню. Вскоре я разглядел впереди черный зев отверстия – наверно, проход в еще один храм. Отворачивая лицо от так и

норовящего попасть в глаза песка, я подошел поближе. В глубине отверстия виднелись очертания полуприсяпанной двери. Я попробовал было открыть ее, но ледяной ветер, что дул из щели под нею, чуть было не загасил мой факел. Завывая и постанывая, вихрь ворошил песок и швырял его во все стороны. Через какое-то время напор ветра ослабел, песчаная пелена мало-помалу развеялась и все успокоилось. Тем не менее мне чудилось, будто по древнему городу разгуливает призрак минувших дней, будто луна вдруг подернулась рябью, словно была собственным отражением в неких бурливых водах. Мне было страшно, однако не настолько, чтобы я забыл о своей жажде чудесного. И, стоило лишь ветру улечься окончательно, я проник за ту дверь, из-под которой он рвался на волю.

Я очутился в очередном храме, который, впрочем, был обширнее любого из тех, в каких я успел побывать раньше, и являлся, похоже, – ибо как раз в нем томился взаперти подземный вихрь – естественной пещерой. Оказавшись внутри, я без труда выпрямился в полный рост, но алтари здесь были ничуть не выше, чем в прочих храмах, стены и потолок пещеры наконец-то явили моему взору образцы живописи тех, кто населял когда-то безымянный город. Я различил причудливые ломаные линии; краски, которыми нанесены были изображения, поблекли от времени, а кое-где попросту исчезли заодно с обратившимся в крошево камнем. На двух алтарях я разглядел затейливую, искусную резьбу. Меня переполнял восторг. Я поднял факел над головой и взглянул на потолок: мне показалось, он слишком уж ровный, чтобы быть естественным образованием. Неужели и к нему приложили резцы древние каменотесы? Если так, то они, надо признать, обладали солидным инженерным опытом.

Внезапно пламя факела сделалось ярче, и в его свете я увидел то, что разыскивал, – отверстие колодца, который уходил в бездну, откуда дул ледяной ветер. Когда я присмотрелся к нему, мне стало нехорошо, ибо оно было явно искусственного происхождения. Опустив в него факел, я разглядел круто уводивший вниз коридор со множеством крохотных каменных ступенек. Эти ступени будут мне сниться до конца моих дней, ибо теперь я знаю, куда они ведут. Они были столь крохотными, что поначалу я принял их за простые зарубки в стене колодца для облегчения спуска. Меня одолевали безумные мысли, предостережения арабских пророков вновь зазвучали в моем мозгу, их слова как будто долетели до меня через пустыню из тех земель, где обитают люди, которые не смеют даже грезить о безымянном городе. Однако, помедлив всего лишь какой-то миг, я пробрался сквозь отверстие и поставил ногу на верхнюю ступеньку.

Спуск, подобный тому, который совершил я, может привидеться человеку разве что в снах, навеянных наркотиками, или в горячечном бреде. Факел, который я держал над головой, бессилён был рассеять мрак, что царил в узком стволе колодца. Я потерял счет времени, я забыл про часы на руке, я испугался, подумав о расстоянии, которое уже преодолел. Крутизна колодца и его направление постоянно менялись; раз я очутился в протяженном коридоре с низким потолком и вынужден был ползти по каменному полу ногами вперед, волоча за собой факел, ибо свод буквально нависал надо мной и я не мог даже встать на колени. Потом снова пошли ступени. Я по-прежнему карабкался по ним, когда мой факел погас. Не думаю, чтобы я тогда обратил на это внимание, поскольку, помнится, все еще держал его над головой, словно он продолжал гореть. По правде сказать, томление по загадочному и таинственному, которое превратило меня в скитальца и охотника за древними чудесами, порой сказывалось на моем рассудке.

Во мраке перед моим мысленным взором возникали драгоценности из моего собрания демонических знаний: отрывки из творения безумного араба Альхазреда, апокрифические кошмары Дамаскина, кощунственные строки бредового «*image du Monde*»[З - «Образ мира» (фр.).] Готье де Меца. Я бормотал их себе под нос, я припомнил Афрасиаба и бесов, что уволокли его вниз по Оксу, я произносил нараспев одну и ту же фразу из повести лорда Дансени: «...глухая тьма бездны». Когда же спуск сделался поистине умопомрачительно крутым, я принялся декламировать Томаса Мура:

Вода чернела в глубине

Подобьем ведьминской отравы,

В которую кладутся травы,

Что полнолунием налиты.

Я наклонился над обрывом

И, в нетерпении своем,

Узрел такое с высоты:

На берегу, как слизи ком,

Трон Смерти высился кичливо,

Бросая тень на все кругом...

Время полностью перестало для меня существовать, но тут мои ноги нащупали ровную поверхность, и я обнаружил, что нахожусь в пещере, немногим более высокой, нежели те два храма, которые остались где-то там, наверху. Стоять я все-таки пока не мог, зато мне удалось сесть на колени, и в этом положении я стал осматриваться. Пещера представляла собой узкий проход, заставленный деревянными сундуками с передней стенкой из стекла. Подивившись тому, как могли оказаться в подземелье полированное дерево и стекло, я зябко передернул плечами. Сундуки располагались вдоль стен, на равном удалении друг от друга, они были прямоугольными, слегка вытянутыми в длину и до отвращения походили своими размерами и формой на гробы. Попытавшись сдвинуть парочку из них с места, я выяснил, что они надежно закреплены.

Проход уходил дальше во тьму, и я, присев на корточки, заковылял по нему «гусиным шагом». Наблюдай кто-нибудь за мной со стороны, моя походка наверняка привела бы его в ужас. Я наклонялся то вправо, то влево, чтобы убедиться, что сундуки – а следовательно, и стены – по-прежнему сопровождают меня. Человек настолько привык мыслить образами, что я почти забыл о темноте и рисовал в воображении бесконечный коридор из дерева и стекла таким, каким мне хотелось его видеть. И тут, на единый, потрясающий миг, я увидел его в действительности.

Я не могу точно определить момент, в который фантазия слилась с реальностью. Впереди неожиданно замерцал свет. Я понял, что различаю свод над головой; неведомое подземное свечение выхватывало из мрака черные прямоугольники сундуков. Некоторое время все было так, как я себе воображал, поскольку свет сочился из скрытого источника прямо-таки по капле. Но, приближаясь к нему, я постепенно начал сознавать, что моему воображению не доставало размаха. Эта пещера разительно отличалась от грубых храмов безымянного города, она была настоящим памятником великого и совершенно необычного искусства. До невероятия правдоподобные, поражающие своей фантастичностью изображения и узоры на стенах создавали цельную картину, буйство красок которой невозможно передать словами. Древесина сундуков была странного золотистого цвета, а из-за стеклянных перегородок таранились на меня мумии существ, чье уродство не поддавалось никакому описанию.

В видовом отношении они принадлежали к рептилиям, в них было что-то то ли от крокодила, то ли от тюленя; в общем, такое наверняка не снилось ни одному натуралисту или палеонтологу. Они были примерно по плечу рослому человеку, их передние лапы заканчивались удивительно похожими на человеческие

ладонями. Но диковиннее всего были их головы, вид которых сокрушал всякие понятия о биологических принципах. Их не с чем было сравнить; впрочем, я одновременно подумал о кошке, бульдоге, мифическом сатире и потомке Адама. У самого Юпитера не было столь огромного, выдающегося лба; рога, отсутствие носа и крокодилья пасть помещали этих существ в разряд неизвестных науке. Я засомневался было в подлинности мумий, подозревая, что они – всего лишь жалкие куклы, но потом пришел к выводу, что вижу перед собой истинных палеолитных тварей, населявших когда-то безымянный город. Словно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть их безобразие, они в большинстве своем были облачены в роскошные одеяния с украшениями из золота, самоцветов и каких-то неведомых сверкающих металлов.

Должно быть, эти ползучие бестии при жизни были важными персонами – на покрытых фресками стенах и потолке им отведено было главное место. Безвестный художник с неподражаемым мастерством изобразил их мир, в котором у них были города и сады под стать их размерам. У меня вдруг мелькнула шальная мысль: а что, если живописная история аллегорична и повествует на деле о развитии того народа, который чтит рептилий как богов? Быть может, они были для жителей безымянного города тем же, чем волчица для Рима и тотемное животное – для какого-нибудь индейского племени.

Исходя из такого предположения, я принялся изучать фрески – эпос безымянного города, легенду о могучей морской метрополии, что властвовала над миром задолго до того, как поднялась из океанских вод Африка. Я узнал о том, как она сражалась за выживание; ведь море отступало, а пустыня подбиралась все ближе к плодородной долине, в которой она стояла; о войнах и победах, горестях и поражениях, о той поре, когда тысячам горожан, иносказательно представленных на рисунках в образе гротескных рептилий, пришлось прорубать сквозь скалы путь в земные недра – к новому миру, о котором вещали им пророки. Фрески были выполнены в весьма натуралистичной манере. Кстати сказать, на них был показан тот колодец, по которому я недавно спускался, прорисованный во всех подробностях: наличествовали даже боковые ответвления.

Пробираясь по коридору в направлении источника света, я не сводил взгляда с вереницы картин, что рассказывали об исходе народа, жившего в безымянном городе и его окрестностях на протяжении десяти миллионов лет, народа, душа которого не принимала расставания с землей, что дала когда-то приют кочевникам, за какое благодеяние они не переставали возносить ей хвалы в

своих молитвах, творимых в скальных храмах. По мере усиления света я мог изучать рисунки более тщательно; по-прежнему считая рептилий аллегорическими существами, я задумался об установлениях и обычаях жителей безымянного города. Многие были мне непонятны. Цивилизация, знакомая с письмом, достигла, по всей видимости, более высокого уровня развития, нежели древний Египет или Халдея, однако мне не попалось еще на глаза ни единого изображения сцены смерти за исключением тех, что относились к гибели в бою и тому подобным вещам. Почему они избегали запечатлеть смерть от старости? Невольно складывалось впечатление, что их существование определял идеал – вернее, иллюзия – бессмертия.

Ближе к концу коридора все чаще стали встречаться необычайно живописные и причудливые фрески – противоречащие друг другу виды развалин безымянного города в пустыне и новой обители, к которой вела прорубленная в скалах дорога. Город и пустыня постоянно изображались залитыми лунным светом: руины окружены были золотистой аурой, которая словно возрождала к жизни чудеса былого, столь мастерски переданные кистью художника, а пейзажи края обетованного были настолько хороши, что взгляд отказывался воспринимать их как правдивые; они рисовали непознанный мир, где царит вечный день, где много прекрасных городов, высоких холмов и плодородных долин. На последней же фреске я усмотрел, как мне показалось, вырождение творческого гения. Рисунок был куда менее завораживающим и гораздо более странным, чем самые безумные из всех предыдущих. Древняя раса, похоже, вымирала, одновременно возрастала ее ненависть к миру наверху, из которого ее изгнала пустыня. Фигуры людей – опять-таки в образе священных рептилий – постепенно уменьшались, хотя на развалинах города они почему-то обретали прежний облик. Изнуренные жрецы – рептилии в роскошных одеяниях – проклинали верхний мир и тех, кто дышит его воздухом. В довершение всего живописец поместил в углу сцену расправы существ древней расы над обыкновенным человеком, судя по его наружности – дикарем из вековечного Ярема, города-колоннады. Я припомнил страх арабов перед безымянным городом и порадовался тому, что дальше стены и потолок коридора свободны от каких бы то ни было изображений.

Увлечшись изучением этой истории в картинках, я незаметно для себя самого приблизился к воротам, из-за которых и проникало в пещеру подземное свечение. Я осторожно подобрался к ним вплотную – и не смог сдержать изумленного восклицания. Я ожидал увидеть обширную, полную света залу, а вместо нее моим глазам предстала безбрежная пучина бледного сияния. Впечатление было такое, будто я гляжу с вершины Эвереста на освещенный

солнцем облачный покров. За моей спиной находился проход, в котором я не мог даже распрямиться во весь рост, а впереди расстилалось необозримое море облаков.

От конца коридора уводила в бездну крутая каменная лестница, ступени которой сильно напоминали те, по каким я спустился в подземелье. Через один или два пролета она терялась в мерцающей дымке. Дверь, преграждавшая доступ в коридор – массивная, бронзовая, чудовищно толстая, украшенная замысловатой резьбой, – была распахнута настежь. Закрытая, она, по-видимому, напрочь отделяла подземный мир света от колодцев и ходов в скале. Я поглядел на ступени и не сумел принудить себя встать на первую из них; я коснулся бронзовой двери – и не смог сдвинуть ее с места. Я опустился на каменный пол, голова моя шла кругом от лихорадочных мыслей, унять которые бессильно было даже мое утомленное состояние.

Лежа с зажмуренными глазами и пытаюсь рассуждать здраво, я почему-то вспомнил фрески и заново переосмыслил то, что было на них изображено, – безымянный город в пору своего расцвета, плодородные земли вокруг, дальние края, до которых добирались его купцы. Аллегория с рептилиями озадачивала меня и сбивала с толку; я не переставал гадать, чем их наружность так расположила к себе неведомого древнего художника. На фресках безымянный город выглядел так, словно его строили именно для рептилий. Каковы же были его размеры в действительности? И тут мне на память пришли некоторые несоответствия, подмеченные мною в развалинах, то бишь необычно низкие своды пещерных храмов и пробитого в скалах коридора. Может статься, их вытесали такими из уважения к рептилиям, которых почитали как богов? Быть может, суть религиозных обрядов заключалась в ползании на животе в подражание божествам? Однако тотчас подумалось мне, что никакая религиозная теория не способна объяснить, почему потолки горизонтальных подземных проходов ничуть не выше потолков в храмах наверху – даже ниже, ведь, находясь под землей, я какое-то время не мог встать и на колени. При мысли о ползучих тварях, чьи мумии остались у меня за спиной, я вновь испытал страх. Рассудок порой приходит к поистине невероятным выводам: я содрогнулся, ибо неизвестно с чего решил вдруг, что я – второй в этом подземелье с его реликтами после того разорванного на куски дикаря.

Однако, как всегда и бывает, радостное изумление помогло мне совладать со страхом. Пучина являла собой загадку, достойную внимания величайших исследователей. Глубоко внизу, под облаками, лежал таинственный мир, к

которому вела каменная лестница. Я надеялся отыскать там людей, изображения которых мне так и не встретились на фресках коридора, хотя на них выписаны были величественные города и цветущие долины низинного мира. Разыгравшееся воображение манило к грандиозным руинам, которые, должно быть, поджидали меня у конца лестницы.

Страхи мои относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Весь ужас моего положения – один, простертый на полу подземного коридора, полного мертвых рептилий и допотопных фресок, заплутавший в недрах планеты, наткнувшийся случайно на мерцающую бездну, – не шел ни в какое сравнение с леденящим душу трепетом, который охватывал меня, стоило мне взглянуть в бездонный провал. Со всех сторон меня окружала немыслимая древность; возраст каменных алтарей и прочих предметов попросту не поддавался исчислению, а на части стенных фресок изображены были давно исчезнувшие из человеческой памяти океаны и континенты – лишь изредка мне на глаза попадались смутно знакомые очертания. Теперь уже никто не расскажет, что случилось с пришедшей в упадок расой ненавистников смерти с той поры, как была написана последняя картина в коридоре. Да, прежде эти пещеры и переливчатая бездна исполнены были жизни, а ныне я оказался наедине с пережившими века реликвиями, что несли на протяжении тысячелетий неусыпный и никому не нужный дозор.

Внезапно на меня в очередной раз обрушился страх – признаться, он и не отпускал меня с того самого мгновения, когда я впервые узрел мертвую долину и залитый лунным светом безымянный город. Пересилив усталость, я кое-как сел и уставился на черный проход, что выводил к вертикальному колодцу с зарубками для рук и ног. Я испытывал чувство, которое было сродни тому что гнало меня под вечер прочь из развалин безымянного города, – необъяснимое, сосущее чувство. В следующий же миг я был буквально потрясен звуком, что нарушил могильную тишину подземного царства. Это был низкий и протяжный стон, какой, верно, издают проклятые духи, и исходил он оттуда, куда был устремлен мой взгляд. Он становился все громче, под сводом коридора загудело эхо, и я ощутил нарастающий напор холодного воздуха, который проникал сюда откуда-то сверху. Дуновение ветра благотворно повлияло на мое сознание, восстановив способность мыслить ясно и здраво, и я сразу же вспомнил те порывы, которые на рассвете и на закате взметали песок над руинами города; один из них привел меня ко входу в подземелье. Я посмотрел на часы и увидел, что приближается рассвет, а потому постарался вжаться в стену, чтобы ветер, который возвращался домой с ночной прогулки, не увлек меня за собой. Мой страх улегся, ибо природный феномен вряд ли имел что-либо общее с

занимавшей меня загадкой.

Ветер задувал все сильнее, с воем отыскивая дорогу в низинный мир. Я вцепился в камень, опасаясь, что неудержимый поток воздуха швырнет меня в сверкающую бездну. По правде сказать, я никак не ожидал от ветра подобной ярости; чувствуя, что меня таки волочет к пропасти, я рисовал себе свое будущее в самых мрачных тонах. Злобствование вихря пробудило уснувшие было фантазии: я вновь принялся сравнивать себя с единственным человеком, побывавшим здесь раньше моего – с тем несчастным разорванным на куски дикарем, – ибо мне чудилось, я улавливаю в неистовстве ветра некое мстительное исступление; впрочем, в его буйстве ощущалось – до известной степени – осознание собственного бессилия. Кажется, в конце концов я закричал и был на грани безумия, но если и так, мои вопли заглушили душераздирающие стоны невидимых призраков, что мчались по коридору на крыльях вихря. Я попробовал ползти обратно, но скоро убедился в бесплодности своих усилий. Меня влекло к краю пропасти. Должно быть, рассудок мой не выдержал, ибо я начал бормотать себе под нос тот стих безумного араба Абдулы Альхазреда, который он сложил, грезя о безымянном городе:

Чему не страшен тлен, то не мертво.

Смерть ожидает смерть, верней всего.

Лишь мрачные боги пустыни знают, что произошло на самом деле, что было со мной в темноте и кто вернул меня к жизни, до конца которой мне суждено содрогаться от воспоминаний, подступающих ко мне с первыми завываниями ночного ветра. Оно было чудовищным в своей громадности, это существо, настолько невообразимое, что верить в него можно только в те жуткие предрассветные часы, когда, как ни старайся, все равно не удастся заснуть.

Я упомянул уже о том, что ярость вихря была поистине демонической – вернее, бесовской – и что в вое его словно обрела голос неутоленная злоба низвергнутых божеств. Постепенно я будто бы стал различать отдельные осмысленные звуки. Снизу, из гробницы неизмеримо древних реликвий, что располагалась на дне кошмарной бездны, донеслись рычание и лай. Обернувшись, я увидел на фоне сверкающего облачного покрова то, чего нельзя было разглядеть в сумраке коридора: орду омерзительных демонов, разгневанных, причудливо одетых, наполовину прозрачных тварей, чей облик говорил сам за себя – ползучих рептилий безымянного города!

Ветер утих, и я погрузился в населенную призраками тьму земных недр. Огромная бронзовая дверь захлопнулась с оглушительным звоном, эхо которого устремилось в наружный мир, чтобы приветствовать солнце, как приветствует его с нильских берегов величавый Мемнон.

1921

Праздник

В ту пору я оказался далеко от дома. Меня не покидало очарование моря. В сумерках я слышал, как оно бьется о скалы, и знал наверняка, что море вон за тем холмом, на котором чернели в свете первых звезд причудливые силуэты ив. Я прибыл в древний город по зову предков и потому упрямо месил снежное крошево на дороге, что тянулась туда, где одиноко мерцал над деревьями Альдебаран, – в направлении старинного города, который я никогда не видел, но о котором так часто грезил.

Дело происходило в канун праздника, который люди именуют Рождеством, хотя в глубине души сознают, что он неизмеримо старше Вифлеема, Вавилона, Мемфиса и самого человечества. Да, в его канун добрался я наконец до старинного города у моря, где когда-то жили и справляли этот праздник мои предки... Они наказали нам блюсти родовой обычай: раз в сто лет мы должны были собираться на празднество и повторять друг другу слова древней мудрости. Мои предки прибыли сюда из южных краев, где цветут орхидеи; они говорили на чужом языке и лишь какое-то время спустя научились наречию голубоглазых рыбаков. С годами моя родня рассеялась по свету, объединяли нас теперь лишь семейные обряды и ритуалы, смысл которых был для постороннего непостижим.

С гребня холма я увидел Кингспорт, заиндевевший, заснеженный Кингспорт с его старинными флюгерами и шпилями, дымовыми трубами, пристанями и маленькими, будто игрушечными, мостиками; я различил кладбищенские ивы и величественную церковь, которой не посмело коснуться время. Мой взгляд заплутал в лабиринте узеньких улочек. Над выбеленными зимней стужей фронтонами и двускатными крышами парила на пыльных крыльях древность. В

вечернем сумраке призывно светились фонари и окна, а в небе, окруженный вековыми звездами, сверкал Орион. В прогнившие доски причалов било море...

Поблизости от дороги возвышался еще один довольно-таки крутой холм. Приглядевшись, я понял, что на его вершине расположилось кладбище: черные надгробия выступали из-под снега призрачными когтями гигантского трупа. Дорога была пустынной, но иногда мне чудилось, будто я слышу негромкое поскрипывание – такое обычно издает виселица. К слову сказать, одного моего родича повесили где-то в окрестностях города за колдовство.

Дорога пошла под уклон. Я напряг слух, стараясь услышать отзвуки царящего в городе веселья, но все было тихо. Тут я вспомнил, какое на дворе время года, и решил, что местные жители могут праздновать Рождество по-своему – вдруг у них принято проводить праздничные вечера в молитвах у семейных очагов? Так что я бросил прислушиваться и поспешил вниз, мимо домиков, в окнах которых горел свет, мимо засыпанных снегом каменных стен, туда, где раскачивались на ветру вывески лавок и таверн, где мерцали в тусклом свечении, сочившемся в щели между оконными занавесками, диковинные молоточки на дверях.

Поскольку я предварительно изучил карту города, мне было известно наверняка, где стоит дом моих родственников. Я рассчитывал, что меня узнают и примут достаточно радушно – ведь в маленьких городках легенды живут долго. А потому я пересек единственную в Кингспорте мощеную улицу, прошел с тыльной стороны рынка и вышел в нужный мне переулок. Старые карты не подвели...

Из окон нужного мне дома, седьмого по счету на левой стороне улицы, пробивался свет. Верхний этаж нависал над узкой улочкой, едва ли не упираясь во фронтон дома напротив. Подойдя поближе, я словно очутился в пещере. На низком крылечке не было ни снежинки, к нему вела череда ступеней, дополненная железными поручнями. Общее впечатление было несколько странным; вдобавок я впервые попал в Новую Англию, а прежде ничего подобного мне видеть не доводилось. Сказать по правде, я бы чувствовал себя уверенней, если бы заметил хоть одного человека на городских улицах. Да и занавески на окнах, будем откровенны, не мешало бы раздернуть.

Притронувшись к архаичному дверному молотку, я испытал страх, которым был обязан отчасти собственным воспоминаниям, а отчасти – зимнему вечеру и

неприветливой тишине, окутывавшей старый Кингспорт. Когда же на мой стук отозвались, я, признаться струсил окончательно, ибо не слышал никаких шагов – дверь распахнулась словно сама собой. Но страх мой тотчас улегся, ибо в дверном проеме появился добродушного вида старик в халате и домашних шлепанцах. Пояснив жестом, что он – немой, старик начертал стилем на восковой дощечке, которую держал в руке, слова древнего приветствия.

Он провел меня в освещенную свечами комнату с низким потолком и скудной обстановкой. Для меня будто ожило прошлое, которое было тут полновластным хозяином. Неподалеку от очага стояла прялка, за которой пристроилась сутулая старушка в старинной шляпке. В комнате ощущалась сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь. Напротив вереницы занавешенных окон располагалась скамья, на которой, похоже, что-то лежало... Все окружавшее меня мне не нравилось, не внушало доверия, и в сердце мое снова закрался страх. Этот страх усиливало то, что раньше сумело его унять, ибо чем пристальнее вглядывался я в лицо старика, тем сильнее оно меня пугало. Глаза на нем словно застыли в неподвижности, а кожа уж чересчур смахивала на воск. В конце концов я решил, что это вовсе не лицо, а искусно выполненная маска. Старик написал, что нужно немного подождать, а потом меня отведут на праздник.

Указав на табурет возле стола с грудой книг, он вышел из комнаты. Я сел и принялся рассматривать книги. Среди них мне попались омерзительная «Демонолатрия» Ремигия и неопиcуемый «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда – книга, которой я до сих пор не видел, но о которой многожды слышал (и, надо признать, отзывы были не слишком лестными). Со мной никто не заговаривал... Если честно, во всем этом – книгах, комнате, людях – ощущалось нечто нездоровое, тревожное; однако в город моих предков меня привел стародавний обычай, а потому я не должен был ничему удивляться. Я попробовал почитать и вскоре с головой ушел в богомерзкий «Некрономикон», содержание которого было поистине отвратительным для любого человека в здравом уме и твердой памяти... Затянувшееся ожидание действовало на нервы, а книга в руках усиливала беспокойство. Когда старинные часы пробили одиннадцать, вернулся старик. Он подошел к большому резному шкафу и извлек оттуда два плаща с капюшонами. Один надел сам, второй накинул на старуху и направился к двери, поманив меня за собой.

Мы вышли в безлунную ночь. Огни в занавешенных окнах гасли один за другим. Сириус ухмылялся в вышине, взирая на фигуры в плащах, что выстраивались в

вереницы и маршировали мимо скрипучих вывесок и допотопных фронтонов, по переулкам, где громоздились друг на друга развалины, по площадям, по церковным дворам, на которых огоньки фонарей вдруг превращались в призрачные подобия небесных созвездий.

Я следовал за своим безмолвным проводником, меня толкали и пихали. Я не видел ни единого лица, не слышал ни единого слова. Вверх, вверх, вверх – по крутым извилистым улочкам; я заметил, что люди со всех сторон стекаются к месту, которое являлось как бы фокусом улиц и переулков, – на вершину высокого холма в центре города. На холме стояла устремленная в небо белая церковь, которую я различил еще с дороги, когда смотрел на сумеречный Кингспорт. Над кладбищем на церковном дворе мельтешили голубые искорки, открывая взору печальные ряды надгробий. Над гаванью мерцали звезды, а город словно растворился во мраке, лишь изредка мигали на улицах фонари – это торопились догнать процессию, которая уже вползала в церковь, немногочисленные опоздавшие. Переступив за стариком порог, я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на церковный двор, обернулся – и вздрогнул. Мне почудилось, будто на снегу не осталось ничьих следов, даже моих собственных.

Когда мои глаза привыкли к царившему в церкви полумраку, я рассмотрел, что фигуры в плащах одна за другой исчезают в раскрытом люке перед кафедрой проповедника. Следом за ними я спустился в подземелье. Впереди маячил хвост зловещей процессии, которая теперь вызывала у меня ужас. Участники неведомого обряда миновали ветхий склеп и направились к отверстию в каменном полу. Дождавшись своей очереди, я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы. Со стен колодца капало, иногда сыпалась каменная крошка, воздух был спертым и отдавал гнилью. Спуск проходил в молчании. Больше всего меня тревожило то, что не слышалось ни шороха, что невозможно было уловить ни малейшего признака эха.

Вонь сделалась почти невыносимой. Тут впереди замерцал свет, и я услышал, как плещется вода. Меня снова пробрала дрожь, ибо ночные события нравились мне все меньше и меньше. Я горько пожалел о том, что внял наказу предков и явился в Кингспорт. Стены колодца разошлись, и я различил иной звук – тонкий, визгливый голосок свирели. Внезапно передо мной словно распахнулся занавес: я увидел, что нахожусь в обширной пещере. Моим глазам предстал столб тошнотворно-зеленого пламени на усеянном губками берегу маслянистой реки, что вытекала из черной бездны и впадала в вековечный океан Тьмы.

Фигуры в плащах образовали полукруг у огненного столба. Они готовились совершить старинный обряд, древностью превосходивший человеческий род и обреченный его пережить. Я видел, как они совершали этот обряд, как поклонялись зеленому пламени и пригоршнями швыряли в воду губки. Я лицезрел бесформенное существо, восседавшее чуть в сторонке и игравшее на свирели, к стенаниям которой примешивался глухой, зловещий клекот. Особенно сильно меня пугал огненный столб: пламя вырывалось из бездны, оно не отбрасывало тени; тепла от него не исходило, оно сулило лишь разрушение и смерть.

Старик, который привел меня сюда, подал знак дудочнику, и тот завел новую мелодию. Музыка повергла меня в неопиcуемый ужас. Я вжался в камень, ибо меня охватил страх, подобного которому испытать под луной просто невозможно; этот страх знаком лишь тем, кто бывал в холодных промежутках между звездами.

Неожиданно из неведомых глубин, что порождали тошнотворное пламя, из пучины, что принимала в себя маслянистые воды реки, появились, ритмично взмахивая крыльями, твари, один вид которых мог кого угодно свести с ума. Рассудок отказывался воспринимать их как живых существ. В них было что-то от ворон – и от кротов, от канюков, летучих мышей и муравьев... Словом, они выглядели, как... Нет! Не хочу! Я не должен вспоминать! Они кружили над нами, поочередно садились на берег, дожидались, когда им на спины заберутся фигуры в плащах, и улетали вдоль по течению реки.

Старик жестом пригласил меня последовать примеру других. Я увидел, что дудочник куда-то исчез, а неподалеку переминаются с лапы на лапу две крылатые твари – видимо, они дожидались нас со стариком. Между тем старик написал на дощечке, что обряд необходимо завершить, а когда я не пошевелился – извлек из складок одежды наши семейные реликвии: перстень с печаткой и часы, как бы напоминая мне, зачем я здесь.

Крылатые твари в нетерпении царапали когтями лишайник на камнях; старик, судя по всему, тоже торопился. Одна из тварей попятилась к воде. Он повернулся к ней, чтобы остановить. От резкого движения капюшон слетел у него с головы, а восковая маска, скрывавшая лицо, упала на берег. И я бросился в подземную реку, нырнул в гнилостные испражнения земли прежде, чем мои истошные вопли созвали на берег тех, кто населял недра планеты.

В больнице мне рассказали, что меня нашли на рассвете в гавани Кингспорта. Я цеплялся за деревянный брус и был едва жив. По всей видимости, в темноте я сбился с пути, свернул на развилке не в ту сторону и упал с обрыва в море. Мне нечего было возразить, хотя я знал, что врачи ошибаются... Потом меня перевели в клинику Святой Марии в Аркхеме, где уход за больными был лучше. Тамошние врачи отличались широтой взглядов; они даже раздобыли для меня экземпляр «Некрономикона» из библиотеки местного университета. Я прочел одну главу – и задрожал от страха, ибо читал ее не впервые. Я видел эту книгу раньше, а где – о том лучше забыть.

Меня преследовали кошмары, в которых звучали цитаты из «Некрономикона». Я не смею их повторить... Нет! Ну разве что один отрывок...

«Глубин иного мира, – пишет безумный араб, – не измерить взором, их чудеса поистине диковинны и внушают трепет. Проклята земля, где мертвые оживают и обретают тела, зол разум, который лишен пристанища... Из гноя восстает омерзительная жизнь, грубые стервятники терзают ее и раздуваются, чтобы поглотить. В земных недрах прорыты длинные ходы; твари, рожденные ползать, научились бегать».

1925

Храм

Рукопись, найденная на побережье Юкатана

Двадцатого августа 1917 года я, Карл-Генрих, граф фон Альтберг-Эренштейн, командор-лейтенант военно-морского флота Германской империи, вверяю эту бутылку и записи Атлантическому океану в месте, точные координаты которого мне неизвестны; это примерно 20 градусов северной широты и 35 градусов западной долготы, где на океанском дне беспомощно лежит мой корабль. Я поступаю так в силу желания сообщить другим некоторые необычные факты; нет шансов, что сам я выживу и смогу рассказать об этом, потому что обстоятельства как крайне необычайны, так и угрожающи, – я имею в виду не

только безнадежное повреждение лодки U-29, но и катастрофическое ослабление моей немецкой железной воли.

В полдень восемнадцатого июня, как было доложено по радио U-61, идущей в Киль, мы торпедировали британское транспортное судно «Виктори», шедшее из Нью-Йорка в Ливерпуль, в месте с координатами 45°16' северной широты, 28°34' западной долготы; мы позволили экипажу покинуть корабль, который тонул очень эффектно: сначала ушла под воду корма, нос высоко поднялся из воды, а корпус погружался перпендикулярно дну. Наша кинокамера ничего не пропустила, и я сожалею, что эти прекрасные кадры никогда не попадут в Берлин. После этого мы потопили шлюпки из наших орудий и ушли под воду.

Когда мы перед закатом всплыли, на палубе оказалось тело матроса: его руки каким-то образом вцепились в поручни. Бедняга был молод, довольно смугл и вполне красив: скорее всего, итальянец или грек – без сомнения, из экипажа «Виктори». Очевидно, он искал спасения на корабле, которому пришлось уничтожить то судно, на котором он плыл, – очередная жертва грязной войны, развязанной этими псами, английскими свиньями, против нашей отчизны. Мои матросы обыскали его на предмет сувениров и нашли в кармане куртки очень странную фигурку из слоновой кости: резная голова юноши в лавровом венке. Мой ближайший помощник, лейтенант Кленце, решил, что вещь эта древняя и представляет художественную ценность, поэтому забрал ее себе. Как она могла оказаться у простого матроса – ни он, ни я представить не могли.

Когда тело выкидывали за борт, произошло нечто необычное, серьезно взволновавшее команду. Глаза трупа были закрыты; однако когда его волокли к перилам, они распахнулись, и многим показалось, что они пристально и насмешливо посмотрели на Шмидта и Циммера, склонившихся в тот момент над телом. Боцман Мюллер, человек уже в возрасте, мог бы повести себя и поразумнее, хотя и был полным предрассудков эльзасским свинопасом; его настолько потряс этот взгляд, что он продолжал следить за телом, упавшим в воду, и клялся, что когда оно погрузилось, то расправило члены, приняв позу пловца, и направилось под волнами на юг. Мне и Кленце не понравились эти проявления крестьянского невежества, и мы устроили выволочку команде, особенно Мюллеру.

На следующий день случилось новая неприятность – заболели несколько членов команды. Судя по всему, последствия нервного перенапряжения в длительном плавании и плохого сна. Некоторые из заболевших выглядели рассеянными и

подавленными; удостоверившись, что они не симулируют, я освободил их от вахты. Море было беспокойным, поэтому мы погрузились: на глубине волнение не так заметно. Люди тоже стали несколько поспокойнее, несмотря на какое-то странное южное течение, которого не было на наших океанографических картах. Стоны больных были решительно несносны: но пока это не сказывалось на боевом духе команды, мы не принимали решительных мер. Мы планировали дожидаться в этих водах лайнера «Дакия», упоминавшегося в донесении агентов из Нью-Йорка.

Под вечер мы всплыли, волнение на море успокоилось. На севере виднелся дым из труб эскадры, но расстояние и способность погружаться обеспечивали нашу безопасность. Куда большее беспокойство вызывала болтовня боцмана Мюллера, который к утру стал почти невменяемым. Он впал в ребячество, слушать которое было противно, городил чепуху о мертвецах, плавающих за бортом и глядящих на него через иллюминатор, и что он узнал в них тех, кто погиб в результате наших славных боевых операций. Предводительствовал ими, по его словам, тот юноша, которого мы нашли и вышвырнули за борт. Это было очень мрачно и нездорово, поэтому мы решили приковать Мюллера и устроить ему хорошую порку. Команда не порадовалась его наказанию, но дисциплину нужно поддерживать. Также мы отклонили просьбу делегации, возглавляемой матросом Циммером, чтобы фигурка из слоновой кости была выброшена за борт.

Двадцатого июня заболевшие накануне матросы Бем и Шмидт стали вести себя буйно. К великому сожалению, в состав экипажей субмарин не входят врачи, хотя речь ведь идет о жизнях немцев; но нескончаемые вопли и причитания этих двоих о нависшем над нами ужасном проклятии настолько пагубно влияли на дисциплину, что пришлось применить к ним крутые меры. Команда восприняла это с угрюмым молчанием, зато на Мюллера, похоже, это подействовало успокаивающе и больше он не доставлял нам хлопот. Вечером его освободили, и он без лишних слов вернулся к своим обязанностям.

Целую неделю мы все были на нервах, поджидая «Дакию». Напряженная обстановка усугубилась исчезновением Мюллера и Циммера, без сомнения, покончивших с собой из-за навязчивых страхов, хотя никто не видел, как они бросались за борт. Исчезновению Мюллера я был рад: даже просто его молчание влияло на команду неблагоприятно. Вся команда стала неразговорчивой, словно подавленная тайным страхом. Заболевших стало больше, но никто не доставлял хлопот. Лейтенант Кленце от постоянного напряжения стал выходить из себя по малейшему поводу: например, из-за дельфинов, собиравшихся вокруг U-29

целыми стаями, или из-за становившегося все сильнее южного течения, не значащегося на наших картах.

Наконец стало понятно, что «Дакию» мы упустили. Подобные неудачи случаются, но мы испытывали скорее облегчение, чем досаду, ведь теперь нам предстояло возвращение в Вильгельмсхафен. В полдень двадцать восьмого июня мы повернули на север и, несмотря на курьезные затруднения, связанные с необычайно большим скоплением дельфинов, погрузились и легли на курс.

Взрыв в машинном отделении в два часа ночи оказался полной неожиданностью. Никаких проблем с работой машин или с персоналом отмечено не было, и все же корабль потрянуло жутким ударом. Лейтенант Кленце помчался в машинное и обнаружил, что топливные цистерны повреждены, двигатель почти весь разворочен, а механики Шнайдер и Раабе погибли. Наше положение внезапно стало критическим: хотя химические регенераторы воздуха остались целы и мы могли всплывать и погружаться, поскольку действовали насосы и оставались заряженными аккумуляторы, двигаться лодка не могла. Спасаться на шлюпках означало отдать себя на милость врага, испытывающего необъяснимую злобу и ненависть к нашей великой германской нации, а беспроводная связь молчала с тех пор, как перед атакой на «Виктори» мы связывались с подводной лодкой флота Германской империи.

С момента аварии до второго июля мы постепенно дрейфовали на юг – без карт, не встречая судов. Вокруг U-29 кружили дельфины – примечательное обстоятельство, принимая во внимание расстояние до ближайшего берега. Утром второго июля мы засекли военное судно под американским флагом, и вся команда настойчиво требовала, чтобы мы сдались им. В итоге лейтенанту Кленце пришлось застрелить матроса Траубе, особенно настойчиво призывавшего к этому антигерманскому акту. Это усмирило команду на некоторое время, и мы незамеченными ушли под воду.

На следующий день с юга прилетела огромная стая морских птиц, и океан начал становиться беспокойным. Мы пережидали непогоду, задрав люки, пока не поняли, что следует погрузиться, чтобы огромные волны не перевернули лодку. Мы старались экономно расходовать сжатый воздух и заряд аккумуляторов, но сейчас выбора не было. Мы погрузились неглубоко, и когда по прошествии нескольких часов море успокоилось, решили снова всплыть. Однако возникла новая неприятность: лодка отказалась всплывать, несмотря на все усилия механиков. Команду беспокоило это подводное заточение, и некоторые снова

припомнили резную фигурку лейтенанта Кленце, но вид автоматического пистолета успокоил их. Мы старались занять чем-то наших людей, возились с механизмами, хотя знали, что это бесполезно.

Мы с Кленце обычно спали по очереди; четвертого июня около пяти часов утра, когда я спал, вспыхнул бунт. Шестеро ублюдков, зовущих себя моряками, полагая, будто застали нас врасплох, с внезапной яростью пытались отомстить нам за отказ сдаться военному кораблю янки два дня назад. Рыча как звери – каковыми по сути и были, – матросы крушили приборы и мебель, выкрикивая всякую чушь и проклятия костяному амулету и смуглому мертвецу, что проклял нас и уплыл. Лейтенант Кленце оказался словно парализован и не решался действовать, проявив худшие черты мягких женоподобных выходцев из Рейнской области. Я застрелил всех шестерых – этого требовали обстоятельства, – после чего лично удостоверился в смерти каждого.

Мы выбросили трупы через торпедный аппарат и остались на U-29 вдвоем. Лейтенант Кленце нервничал и беспробудно пил. Нами было принято решение, что мы постараемся прожить как можно дольше, благодаря большому запасу продовольствия и регенераторам воздуха, ни один из которых не пострадал от рук этих грязных скотов. Наши компасы, глубиномеры и другие хрупкие приборы оказались разбиты; теперь мы могли только приблизительно определять свое местоположение, используя часы и календарь и оценивая дрейф по предметам, видимым через иллюминаторы. К счастью, у нас были батареи большой емкости, их должно было хватить для внутреннего освещения и для прожекторов на долгий срок. Мы периодически включали внешнее освещение, но видели только дельфинов, плывущих параллельно нашему курсу. Эти дельфины вызывали у меня научный интерес: обычный *Delphinus delphis* – подобное киту млекопитающее, неспособное долго оставаться без воздуха; я же следил за одним из них около двух часов, и за это время он ни разу не поднялся на поверхность.

Прошло много дней, но мы с Кленце решили, что по-прежнему плывем на юг, погружаясь все глубже и глубже. Мы наблюдали за окружающей нас океанской флорой и фауной и читали книги на эту тему, захваченные мною ради редких свободных минут. При этом я не мог не обратить внимания на низкий интеллектуальный уровень моего товарища. К тому же у него был не прусский склад мышления и подверженность бесполезной игре ума и нездоровому воображению. Неминуемость нашей грядущей смерти любопытно подействовала на него: он стал часто молиться в раскаянии за всех мужчин, женщин и детей,

которых отправил на дно, забыв о том, что все, послужившее делу германской нации, достойно всяческого одобрения. Постепенно он становился все более несдержанным, иногда часами глядел на костяную фигурку и плел фантастические истории о затерянных и бесследно исчезнувших в море. Иногда, в качестве психологического эксперимента, я сам наводил его на эту тему и выслушивал бесконечные выдержки из поэзии и рассказов о затонувших судах. Мне было жаль его, и не хотелось видеть, как страдает немец, но он был не тем человеком, с которым легко встречать смерть. Своим же поведением я гордился, зная, что отчизна почитит мою память и мои сыновья будут брать с меня пример.

Девятого августа мы заметили океанское дно и направили на него мощный луч прожектора. Это оказалось просторная холмистая равнина, заросшая водорослями и колониями моллюсков. Там и тут виднелись покачивающиеся предметы неопределенных очертаний, обросшие водорослями и ракушками, про которые Кленце сказал, что это останки древних затонувших кораблей. Но вот что его удивило: нечто прямоугольных очертаний, выступающее над дном фута на четыре, со сторонами в два фута, гладкими, ровными, с ровной плоской вершиной. Я счел это причудливым выступом скалы, но Кленце уверял, что заметил на нем барельеф. Спустя некоторое время его стала бить нервная дрожь, и он отвернулся от иллюминатора, будто напуганный, но не смог объяснить, чем; думаю, он был поражен громадностью, мрачностью, древностью и загадочностью океанской бездны. Испытание оказалось чрезмерным для его рассудка; но я, более типичный немец, заметил два обстоятельства: что U-29 превосходно выдерживает давление и что странные дельфины по-прежнему с нами, хотя возможность существования высших организмов на таких глубинах отрицается большинством биологов. Возможно, я переоценил глубину, но она была без сомнения достаточной, чтобы счесть наблюдаемое необычным. Проверив скорость дрейфа к югу по ориентирам на дне, я убедился, что она в пределах рассчитанных мною параметров.

Двенадцатого августа в 3:15 несчастный Кленце спятил окончательно. Он сидел в рубке и светил прожектором, но затем вдруг ворвался в мою каюту, где я спокойно читал книгу, и лицо сразу выдало его. Я записываю здесь сказанное им, выделяя те слова, которые он подчеркивал голосом: «Он зовет! Он зовет! Я слышу Его! Мы должны идти!» Выкрикивая это, он схватил со стола резную фигурку, спрятал ее в карман и ухватил меня за руку, намереваясь потащить из каюты на палубу. В этот момент я сообразил, что он собирается открыть люки и выбраться за борт вместе со мной – вспышка само- и просто убийственной мании, от которой я растерялся. Когда я вырвался и попытался урезонить его, он стал действовать настойчивее, приговаривая: «Идем прямо сейчас... не надо

ждать, когда станет поздно; лучше покаяться и получить прощение, чем упорствовать и стать проклятым!» Тогда я попытался применить противоположную тактику: сказал ему, что он обезумел, – этому жалкому ничтожеству. Но он был непреклонен и воскликнул: «Если я обезумел, то это милость! Да сжалятся боги над тем человеком, который сможет сохранить рассудок до самого жуткого конца! Идем, и еще не поздно сойти с ума, пока Он призывает, будучи склонным к милости!»

После этой вспышки красноречия в его голове словно бы немного прояснилось; после нее он стал мягче и попросил у меня разрешения уйти одному, если уж я отказываюсь идти с ним. Мне стало очевидным, как следует поступить. Он был немцем, но всего лишь рейнландцем и плебеем, и к тому же стал потенциально опасен. Уступив его самоубийственной просьбе, я избавлялся от того, кто был уже не товарищем, а угрозой. Я попросил его не уносить с собой фигурку, но это вызвало у него приступ такого жуткого смеха, что я не решился повторять просьбу. Затем я поинтересовался, не хочет ли оставить хотя бы прядь волос на память для своей семьи в Германии, на случай, если я спасусь, но услышал лишь тот же жуткий смех. Итак, он поднялся по трапу в шлюзовую камеру, я подошел к рычагам и с положенными паузами совершил то, что обрекало его на смерть. Увидев, что он все же покинул лодку, я включил прожектор в попытке напоследок увидеть Кленце еще раз; меня интересовало, расплющило его давлением на такой глубине или тело осталось неповрежденным, как у этих необычных дельфинов. Но мне не удалось найти своего прежнего приятеля, ибо дельфины сбились плотной массой и загородили обзор.

Вечером я пожалел, что не забрал незаметно фигурку из кармана несчастного Кленце, потому что воспоминание о ней не давало мне покоя. Я не мог забыть прекрасную юношескую голову в венке из листьев, хотя по натуре я совсем не художник. Отсутствие собеседника навевало грусть. Пусть Кленце был и не ровня мне по интеллекту, но все же лучше, чем ничего. В ту ночь мне не спалось, я мог только размышлять о неминуемом конце. Шансы на спасение у меня были ничтожные.

На следующий день я, как обычно, поднялся в рубку и начал осмотр окрестностей с помощью прожектора. В северную сторону вид был точно такой же, как и за последние четыре дня, но я заметил, что дрейф U-29 замедлился. Направив луч на юг, я заметил, что океанское дно впереди идет под уклон, а местами заметны каменные блоки искусственного вида, расположенные как будто в какой-то системе. Океанское дно уходило вниз быстрее, чем

погружалась лодка, и мне пришлось повозиться, чтобы направить прожектор вертикально вниз. От резкого поворота провода отсоединились, и ремонт занял у меня долгие минуты; наконец прожектор снова заработал, освещая подводную долину подо мной.

Эмоции не властны надо мной, но увиденное в электрическом свете вызвало сильное изумление. Хотя человеку, воспитанному в лучших традициях прусской культуры, не следовало изумляться, ибо как геология, так и традиция сообщают нам о великих смещениях участков морей и материков. Я увидел великое множество расставленных в каком-то сложном порядке разрушенных зданий величественной, но незнакомой мне архитектуры, разной степени сохранности. Большинство были, по-видимому, из мрамора, отблескивающего белизной в луче прожектора; общее расположение свидетельствовало, что когда-то это был огромный город на дне узкой долины, с бесчисленными отдельно стоящими храмами и виллами на пологих склонах. Крыши обрушились, колонны подломились, но дух незапамятно древнего величия ничто не могло уничтожить.

Оказавшись наконец над Атлантидой, которую прежде считал скорее мифом, я стал ее неутомимым исследователем. По углублению в этой долине когда-то пробегала река; изучая пейзаж внимательнее, я углядел остатки мраморных и каменных мостов, набережных, террас и пристаней, когда-то, видимо, утопавших в зелени и бывших прекрасными. Охваченный энтузиазмом, я дошел почти до такой же глупости и сентиментальности, как несчастный Кленце, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло и теперь U-29 медленно опускался вниз, на затонувший город, как садятся на землю дирижабли. А кроме того, я запоздало отметил, что стая необычных дельфинов исчезла.

Часа через два лодка улеглась на каменной площади неподалеку от скалистой границы долины. С одной стороны мне был виден весь город, спускающийся от площади к прежнему руслу реки, с другой в удивительной близости возвышался богато украшенный и, похоже, совершенно целый фасад гигантского здания, очевидно, храма, вырубленного в утесе. Каких трудов стоило создать такое титаническое сооружение – я мог только догадываться. Невероятно широкий фасад явно скрывал уходящие далеко вглубь помещения, судя по множеству окон разного назначения. Посреди него зияла громадная открытая дверь, к которой вела поражающая воображение каменная лестница; по краям двери я заметил искуснейшие барельефы на подобные вакхическим сюжеты. Над всем этим – громадные колонны и фризы, и те и другие украшены скульптурами невыразимой красоты; на них, похоже, представлены пасторальные сцены и

шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему божееству. Искусство феноменального совершенства, по виду напоминающее древнегреческое, но странно самостоятельное. Оно разрушает впечатление ужасной древности, кажется более современным, чем даже последователи древнегреческого искусства. Все это в целом, каждая деталь этой постройки ощущается как часть древнего скалистого основания нашей планеты. Не могу даже вообразить, как оно было вырублено. Возможно, каверна или серия пещер послужили основой. Ни время, ни долгое пребывание в воде не повредили религиозному величию жуткого храма – ибо это мог быть только храм, – и сейчас, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, неоскверненный, в бесконечной ночи и молчании океанской пучины.

Не могу оценить, сколько часов я провел, разглядывая затонувший город – его здания, арки, статуи, мосты и колоссальный храм, прекрасный и пугающий одновременно. Хотя я знал, что моя смерть близка, любопытство терзало меня, и я водил прожекторным лучом в нескончаемом поиске. Луч света позволял мне рассмотреть множество деталей, но оказывался неспособен высветить что-либо за распахнутой дверью скального храма; рассматривая его время от времени, я выключал ток, сознавая необходимость беречь энергию. Сейчас прожектор светил уже ощутимо слабее, чем в первые недели нашего дрейфа. Слово бы обостренное предстоящим расставанием с жизнью, мое желание узнать хранящиеся в океане тайны росло. Я, представитель великой Германии, буду первым, кто ступит в эти проходы, тысячелетиями пребывавшие в забвении.

Я достал и тщательно проверил металлический костюм для глубоководных погружений; попробовал пользоваться его переносной лампой и регенератором воздуха. Хотя справиться с двойным люком в одиночку очень сложно, я верил, что мои навыки ученого помогут преодолеть все препятствия и пройти по мертвому городу.

Шестнадцатого августа я осуществил выход из U-29 и прогулялся по разрушенным и заплывшим грязью улицам к ложу древней реки. Я не увидел скелетов или каких-либо других человеческих останков, но нашел множество бесценного с точки зрения археологии, от скульптур до монет. Невозможно передать на словах мою скорбь о культуре, пребывавшей в расцвете славы в те времена, когда по Европе бродили пещерные люди, а Нил нес свои воды мимо необитаемых берегов. Другие, пользуясь этими заметками как руководством – если их когда-нибудь найдут, – пусть представят перед человечеством величие, на которое я могу только намекать. Я вернулся в лодку, поскольку батареи

начали садиться, приняв решение на следующий день исследовать пещерный храм.

Семнадцатого августа, когда я уже собирался отправиться к храму, меня постигло величайшее из разочарований: я обнаружил, что приборы, необходимые для перезарядки фонаря, пострадали от этих свиней в июньском бунте. Моя ярость была беспредельной, но немецкое здравомыслие не позволяло рисковать, вступая без необходимого снаряжения в непроглядную тьму, где могло оказаться логово неведомого науке морского чудовища или лабиринт, из запутанных ходов которого я никогда не выберусь. Все, что мне удалось сделать, – включить слабеющий прожектор U-29, в его свете подняться по ступеням и осмотреть наружные барельефы. Столб света упирался в проход почти снизу вверх, и разглядеть что-либо за пределами порога оказалось невозможно. Впрочем, не видно было и потолка; хотя я сделал пару шагов вовнутрь, осторожно проверяя пол, но дальше идти не посмел. Более того, впервые в жизни я испытывал ужас. Мне стали понятны причины некоторых фобий несчастного Кленце, потому что хотя храм притягивал меня все больше, по отношению к находящемуся в его глубине я испытывал слепой и все возрастающий ужас. Вернувшись в субмарину, я выключил свет и долго размышлял в темноте. Электричество следовало беречь для более важного.

Всю субботу, восемнадцатого, я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими разьесть мою немецкую выдержку. Кленце, звавший меня с собой, обезумел и погиб прежде, чем достиг этих зловещих останков невообразимо далекого прошлого. Неужели и в самом деле судьба сохранила мне рассудок для того лишь, чтобы неодолимо увлечь к концу, более жуткому и невыносимому, чем в состоянии вообразить человек?

Несомненно, эти рассуждения – последствия чрезмерного нервного напряжения, мне следует отвергнуть впечатления, возникшие ввиду временной ослабленности.

Всю субботнюю ночь я не спал и, не заботясь о будущем, включил свет. Мысль, что электричество иссякнет раньше воздуха и провизии, раздражала. Мои мысли вернулись к легкой, без мучений, смерти, и я осмотрел свой автоматический пистолет. Под утро я, должно быть, уснул при включенном свете, поскольку, проснувшись вчера среди дня, обнаружил, что батареи мертвы. Я истратил одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел о расточительности, с которой мы израсходовали недавно несколько имевшихся у нас свечей.

Когда последняя зажженная спичка погасла, я остался совершенно спокойно сидеть в темноте. Пока я размышлял о неминуемой смерти, мой разум просматривал все прежние события и выявил нечто странное, что обратило бы в ужас человека послабее и посуевернее. Голова светящегося божества на барельефах скального храма – точно такая же, как на резной фигурке, найденной у мертвого моряка, которую несчастный Кленце унес с собой в море.

Я был озадачен таким совпадением, но не ужаснулся. Только слабому уму свойственно объяснять уникальное и сложное примитивным замыканием на сверхъестественном. Совпадение было странным, но я был слишком здравомыслящим, чтобы увязывать столь разрозненное или неким диким образом увязать в логическую цепочку события от случая с «Виктори» до моего нынешнего ужасного положения. Ощувив потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Мое нервное состояние сказывалось и на снах: я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, заглядывающие в иллюминаторы. Среди этих мертвых лиц было и одно живое – насмешливое лицо юноши с костяной фигурки.

Описывая мое сегодняшнее пробуждение, я сам отношусь к этому с осторожностью, потому что нервы у меня совершенно расстроены и видения смешиваются с фактами. Мой случай очень интересен для психологов, и очень жаль, что за ним не могли пронаблюдать компетентные немецкие специалисты. Открыв глаза, первым делом я ощутил непреодолимое желание посетить скальный храм; растущее с каждым мгновением, оно оказалось почти автоматически заблокированным чувством страха, сработавшим как тормоз. Вслед за этим почудилось свечение среди тьмы, мне показалось, что я увидел фосфоресцирующее сияние в воде, пробивавшееся через иллюминаторы, обращенные к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо мне неведомы глубоководные организмы, способные испускать такое свечение.

Но прежде чем я успел всерьез этим заинтересоваться, появилось дополнительное ощущение, заставившее своей иррациональностью усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства. Это была слуховая галлюцинация: ритмический, мелодичный звук какого-то варварского, но прекрасного, распеваемого хором гимна, проникающий откуда-то извне, сквозь абсолютно звуконепроницаемую оболочку U-29. Убежденный, что это признаки психического расстройства, я истратил несколько спичек и принял большую дозу раствора бромида натрия, который, похоже, успокоил меня до уровня отключения звуковой иллюзии. Но свечение осталось, и мне было трудно

подавить желание подойти к иллюминатору, чтобы высматривать его источник. Оно было настолько реальным, что вскоре я смог распознавать знакомые предметы вокруг, видел даже пустой стакан из-под брома, а ведь я не помнил, куда его поставил. Последнее заинтересовало меня – я перешел каюту и ощупал стакан. Это был именно он. Теперь я знал, что свет или реален, или часть галлюцинации такой стойкой, что у меня нет шансов справиться с ней; поэтому, отказавшись от сопротивления, я поднялся в рубку – посмотреть, что же именно светит. Может, это другая подлодка, несущая шанс на спасение?..

Читателю лучше не принимать написанное здесь на веру, ибо когда события выходят за рамки естественного порядка вещей, они неизбежно становятся субъективным и нереальным продуктом перенапряженного рассудка. Поднявшись в рубку, я нашел, что свечение в море вокруг куда меньше, чем следовало бы ожидать. Поблизости не оказалось никаких фосфоресцирующих растений или животных, и город, спускающийся к руслу реки, был окутан непроницаемым мраком. Увиденное не было гротескным или ужасающим, однако убрало последние опоры доверия моему сознанию. Вход и окна подводного храма, высеченного в скале, отчетливо горели мерцающим светом, будто от огромного жертвенного костра внутри.

Дальнейшие мои впечатления хаотичны. Глядя на эти светящиеся окна и дверь, я стал жертвой необычайной иллюзии – настолько удивительной, что не могу даже внятно рассказать о ней. Мне привиделось, что я различаю что-то в храме, какие-то предметы, неподвижные и движущиеся; казалось, снова зазвучал призрачный хорал, который я слышал, когда только проснулся. Мои думы и страхи сконцентрировались на юноше из моря и костяной фигурке, облик которой повторялся на фризах и колоннах храма передо мной. Я подумал о несчастном Кленце – где сейчас его тело с той фигуркой, которую он унес обратно в море? Он предупреждал меня о чем-то, но я не внял ему – ведь он был мягкохарактерный рейнландец, обезумевший от событий, которые пруссак способен вынести без особого труда.

Остальное все очень просто. Стремление выйти наружу и войти в храм стало для меня повелительным категорическим зовом, который решительно нельзя отвергнуть. Немецкая железная воля уже не контролирует мои поступки и проявляет себя лишь во второстепенных вопросах. Это же самое безумие погнало Кленце к смерти, незащищенного, без какого-либо снаряжения прямо в океан; но я, пруссак и здравомыслящий человек, постараюсь использовать максимально то немногое, что у меня еще осталось. Осознав, что идти придется,

я подготовил водолазный костюм, шлем и регенератор воздуха, затем закончил эту поспешную хронику событий в надежде, что когда-нибудь она попадет в руки людей. Я запечатаю эту рукопись в бутылку и доверю ее морю, окончательно покидая U-29.

Я не испытываю страха, даже несмотря на пророчество безумного Кленце. То, что я наблюдаю, не может быть правдой: я знаю, что это следствие моего безумия и по большей части объясняется кислородным голоданием, поскольку воздух у меня заканчивается. Свет внутри храма – чистейшая иллюзия, и меня ждет смерть, достойная истинного тевтонца: в непроглядно черной глубине океана. Дьявольский смех, который я слышу, дописывая эти заметки, порожден моим угасающим рассудком. Так что сейчас я тщательно облачусь в водолазный костюм и смело отправлюсь вверх по ступеням в древний храм, в эту безмолвную тайну неизмеримых морских глубин и неисчислимых лет.

1925

Зов Ктулху

Вполне могли сохраниться обладатели такого вот могущества или существа... уцелевшие с той невообразимо далекой эпохи, когда... носители сознания обладали такими внешними формами, какие исчезли задолго до возвышения человеческого рода... формами, эхо воспоминаний о которых проявляется в поэзии и легендах, где они зовутся богами, чудовищами и мифическими существами всевозможных разновидностей...

Элджернон Блэквуд

I. Ужас, запечатленный в глине

Величайшее милосердие мироздания, на мой взгляд, заключается в том, что человеческий разум не способен охватить и связать воедино все, что наш мир в

себя включает. Мы обитаем на спокойном островке невежества посреди темного моря бескрайних знаний, и вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Науки, каждая из которых уводит в своем направлении, пока что причиняют нам не очень много вреда; но однажды объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такой ужасающий вид на реальную действительность, что мы либо потеряем рассудок от этого откровения, либо постараемся укрыться от губительного просветления под покровом нового средневековья.

Теософы высказали догадку о внушающем благоговейный страх великом космическом цикле, в котором весь наш мир и человеческая раса – лишь кратковременный эпизод. От их намеков на странные проявления давно минувшего кровь стыла бы в жилах, не будь они выражены в терминах, прикрывающих все успокоительным оптимизмом. Однако не теософы дали мне возможность бросить мимолетный взгляд в те запретные эпохи, и теперь дрожь пробирает меня по коже, когда я об этом думаю, и охватывает безумие, когда я вижу это во сне. Этот мимолетный взгляд, как и все прочие грозные проблески истины, был вызван случайным соединением разрозненных фрагментов – в данном случае одной старой газетной статьи и записок умершего профессора. Надеюсь, что никому больше не суждено подобное совпадение; во всяком случае, если я выживу, то постараюсь не добавить дополнительных звеньев к этой ужасающей цепи. Думаю, что и профессор имел намерение хранить в тайне то, что узнал, и только внезапная смерть помешала ему уничтожить свои записи.

Первое мое прикосновение ко всему этому случилось зимой 1926—27 года, когда умер мой двоюродный дед, Джордж Геммел Анджелл, специалист по семитским языкам, заслуженный профессор в отставке Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Анджелл был широко известным специалистом по древним письменам, и к его помощи нередко обращалось руководство крупнейших музеев; поэтому его смерть в возрасте девяноста двух лет не прошла незамеченной. Интерес к этому событию оказался усилен загадочными обстоятельствами его кончины. Смерть настигла профессора, когда он возвращался домой от пароходного причала в Ньюпорте; свидетели утверждали, что он упал, столкнувшись с каким-то моряком-негром, внезапно выскочившим из прохода в один подозрительный мрачный двор, каких много выходило на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не нашли на теле никаких следов насилия и, после долгих и полных недоумения дебатов, пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце из-за подъема столь пожилого человека по крутому склону холма. В то время я

не видел причин сомневаться в этом вердикте, но с некоторых пор сомнения у меня появились – и даже не просто сомнения.

Как наследник и душеприказчик своего двоюродного деда, умершего бездетным вдовцом, я, предположительно, должен был тщательно изучить его архивы, и с этой целью перевез все его папки и коробки к себе в Бостон. Большая часть отобранных мною материалов была опубликована затем Американским археологическим обществом, но оставался еще один ящик, содержимое которого я счел наиболее загадочным и не хотел показывать никому. Он был заперт, и мне не удавалось найти ключ, пока я наконец не догадался осмотреть личную связку ключей профессора, которую тот носил с собой в кармане. Наконец ящик удалось открыть, но, сделав это, я столкнулся с новыми, более сложными загадками. Ибо как мне было понять значение обнаруженного там странного глиняного барельефа, разрозненных записок и газетных вырезок? Неужели мой дед на старости лет оказался подвержен самым примитивным суевериям? Я решил для начала найти чудаковатого скульптора, ответственного за помутнение рассудка старого ученого.

Барельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно пять на шесть дюймов, явно современного происхождения. Однако запечатленное на нем никак не соотносилось с современным искусством ни по духу, ни по замыслу; ибо, при всем буйном разнообразии кубизма и футуризма, в них редко воспроизводится та загадочная систематичность, что таится в доисторических письменах. А в надписи этого барельефа она безусловно присутствовала, хотя я, несмотря на знакомство с бумагами моего деда и его коллекцией древних рукописей, не смог сопоставить ее с каким-либо конкретным источником или хотя бы сделать предположение о связи с какой-то культурой.

Над выполненной странными значками надписью располагалась фигура, несомненно плод фантазии художника, хотя импрессионистская манера исполнения мешала точнее понять, на что он намекает. Это было некое чудовище, или символическое представление о чудовище, или просто порождение больного воображения. Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. Непропорционально большая голова, снабженная щупальцами, венчала нелепое чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями; причем именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной. На заднем

плане угадывались некие циклопические постройки.

Вместе с этим барельефом в ящике хранились газетные вырезки и заметки, написанные профессором Анджеллом без претензий на литературный стиль, судя по всему, в последние годы жизни. Предположительно главный документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ», причем буквы были выписаны старательно, вероятно, во избежание неправильного прочтения такого необычного слова. Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие «1925 – Видения и творчество по мотивам видений Х. А. Уилкокса, Томас-стрит, 7, Провиденс, Род-Айленд», а вторая – «Рассказ инспектора Джона Р. Лейграсса, Бьенвилль-стрит, 121, Новый Орлеан, Луизиана, о событ. 1908 г.; заметки о них же + свид. проф. Уэбба». Остальные рукописные заметки были короткими, они содержали описание весьма необычных сновидений различных людей, выписки из теософских книг и журналов (в особенности из книги У. Скотта-Эллиота «Атлантида и исчезнувшая Лемурия»), а также сведения о наиболее долго существовавших тайных обществах и секретных культах со ссылками на такие мифологические и антропологические источники, как «Золотая ветвь» Фрезера и «Культеведьм в Западной Европе» мисс Мюррей. Газетные вырезки содержали в основном описания случаев особо причудливых психических расстройств, вспышек группового помешательства и внезапно возникших маний весной 1925 года.

Первый раздел основной рукописи содержал довольно необычную историю. Началась она 1 марта 1925 года, когда к профессору Анджеллу явился худой темноволосый молодой человек, на вид взволнованный и возбужденный, принес с собой глиняный барельеф, совсем свежий и потому еще влажный. На его визитной карточке значилось «Генри Энтони Уилкокс», и мой дед узнал младшего сына довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в Художественной школе Род-Айленда и проживал один в апартаментах во Флер-де-Лиз-Билдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс, не по годам развитый юноша, известный своим талантом и крайними чудачествами, с раннего детства интересовался странными историями и часто видел удивительные сновидения, о которых имел привычку рассказывать. Себя он называл «психически сверхчувствительным», а добропорядочные степенные консервативные обитатели старого коммерческого района полагали его просто чудаком и не воспринимали всерьез. Почти не общаясь с людьми своего круга, он постепенно исчез из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже Клуб искусств Провиденса, стремящийся сохранять свою консервативность, полагал его почти безнадежным.

Целью своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления назвал желание воспользоваться археологическими познаниями известного специалиста и попросил помочь ему разобраться в надписи непонятными значками под барельефом. Говорил он в мечтательной и высокопарной манере, которая намекала на склонность к позерству и не вызывала симпатии, и мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделия свидетельствовала о том, что оно наверняка не имеет никакого отношения к археологии. Возражения юного Уилкокса, которые произвели на моего деда столь сильное впечатление, что он запомнил их и впоследствии записал, носили фантастически поэтический характер, что было типично для его речи и, как я впоследствии смог убедиться сам, вообще было характерной его чертой. Он сказал: «Разумеется, совсем новый, ибо я сделал его прошлой ночью во сне, где мне виделись странные города; а сны старше, чем задумчивый Тир, созерцательный сфинкс или окруженный садами Вавилон».

А затем он начал бессвязное повествование, которое пробудило нечто дремлющее в памяти моего деда и вызвало его горячий интерес. Предыдущей ночью в Новой Англии ощущались подземные толчки далекого землетрясения, наиболее ощутимые за последние годы; это сильно сказалось на воображении Уилкокса. Заснув, он увидел совершенно невероятный сон о великих циклопических городах из титанических каменных блоков и о вздымающихся до неба монолитах, источающих зеленую слизь и зловещий ужас. Стены и колонны там были покрыты непонятными письменами, а снизу, непонятно откуда, звучал голос, который был не голосом; хаотичное ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук, но все же Уилкокс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием букв: «Ктулху фхтагн».

Эта вербальная бессмыслица оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и обеспокоило профессора Анджелла. Он опросил скульптора с научной дотошностью и крайне внимательно изучил барельеф, над которым, не осознавая этого, юноша работал во время сна и который с недоумением увидел перед собой, внезапно очнувшись, продрогший и одетый в одну лишь ночную рубашку. Как рассказал впоследствии Уилкокс, мой дед посетовал на свою старость, ибо только из-за нее не узнал сразу же значки и фигуру на барельефе. Многие из заданных вопросов показались посетителю несколько не относящимися к делу, особенно связанные с попытками найти связь его с какими-нибудь странными культами, сектами или сообществами; Уилкокс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне признание о принадлежности к какому-либо из широко

распространенных мистических или языческих религиозных объединений. Когда профессор Анджелл убедился в полном невежестве скульптора в отношении любых религиозных культов, а также криптографических записей, он постарался добиться от своего гостя согласия сообщать ему о содержании последующих сновидений. Это стало регулярно приносить плоды, и после упоминания о первом посещении рукопись содержала сообщения о ежедневных визитах молодого человека, во время которых он рассказывал о наиболее ярких эпизодах своих ночных видений, где всегда присутствовали какие-то ужасающие циклопические пейзажи с темными сочащимися камнями и всегда ощущался подземный голос или разум, монотонно выкрикивающий нечто загадочное, воспринимавшееся как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто встречавшихся набора звуков примерно передаются в записи как «Ктулху» и «Р'лайх».

23 марта, сообщала рукопись, Уилкоккс не пришел; обратившись по месту его проживания, профессор узнал, что юноша стал жертвой неизвестной лихорадки и перевезен к родителям на Уотермэн-стрит. Той ночью он громко кричал, разбудив других художников, проживавших в доме, после чего в его состоянии периоды бреда чередовались с полным беспомощностью. Мой дед тут же связался по телефону с его семьей, после чего внимательно следил за развитием ситуации и часто звонил в офис лечащего врача, доктора Тоби на Тейер-стрит. От лихорадки мозг юноши населяли странные видения, и врача, рассказывавшего о них, самого время от времени пробирала дрожь. Эти видения содержали все то, о чем рассказывалось прежде, но теперь упоминались гигантские создания «в целые мили высотой», проходящие или неуклюже передвигающиеся где-то рядом. Юноша ни разу не дал их внятного описания, но отрывочные слова, пересказанные доктором Тоби, убедили профессора, что существа эти, по-видимому, точно такие, как то безымянное чудовище, которое молодой человек запечатлел в своем сделанном во сне барельефе. Упоминание о них, добавлял доктор, всегда вызывало затем впадение в беспомощность. Температура больного, как ни странно, была почти в норме; однако все симптомы свидетельствовали скорее о лихорадке, чем об умственном расстройстве.

2 апреля около трех часов пополудни все симптомы болезни Уилкоккса внезапно исчезли. Он сел в своей кровати, изумленный пребыванием в доме родителей и не имея никакого представления о том, что происходило с ним наяву и во сне после вечера 22 марта. Врач нашел его состояние удовлетворительным, и через три дня Уилкоккс вернулся в свою квартиру; однако для профессора Анджелла он стал бесполезным. Из памяти Уилкоккса исчезли все следы причудливых видений,

и мой дед прекратил записи приходящих ему по ночам образов спустя неделю, на протяжении которой молодой человек скрупулезно излагал ему совершенно заурядные сны.

На этом первый раздел рукописи заканчивался, но сведения, содержащиеся в приложенных отрывочных записях, давали дополнительную пищу для размышлений – и столь много, что лишь присущий мне скептицизм, составлявший в то время основу моей философии, позволял сохранять недоверчивое отношение к скульптору. Упомянутые записи представляли собой содержание сновидений различных людей и относились именно к тому периоду, когда юный Уилкоккс совершал свои необычные визиты. Похоже, мой дед провел весьма обширные исследования, опросив почти всех, кого он знал и к кому мог свободно обратиться, об их сновидениях и фиксируя даты достойных упоминания видений. Отношение к его просьбам, видимо, бывало разным, но в целом он получил так много откликов, что явно не справился бы с ними без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, однако записи профессора были подробными и содержали все значимые подробности ночных видений. В данном вопросе «средние люди», заурядные представители деловых кругов и общественной жизни – по традиции считающиеся в Новой Англии «солью земли», – давали почти полностью негативный результат, хотя изредка и у них случались мрачные, но не вполне четкие ночные видения, почти всегда имевшие место между 23 марта и 2 апреля, то есть в период горячки у юного Уилкоккса. Люди науки оказались немного более подверженными странному воздействию, хотя всего лишь четыре описания содержали мимолетные видения удивительных ландшафтов и в одном случае упоминалось нечто аномальное, вызвавшее страх.

Непосредственное отношение к теме исследования имели только сновидения поэтов и художников, и полагаю, что если бы была возможность сопоставить их видения между собой, это породило бы самую настоящую панику. При отсутствии самих писем от опрошенных я отчасти подозревал, что имели место наводящие вопросы или даже что данные подтасованы под желаемый результат. Вот почему мне все еще казалось, что Уилкоккс, каким-то образом прознавший о материалах, с которыми мой дед имел дело ранее, оказал некоторое внушение на престарелого ученого. Отзывы людей, причастных к искусству, давали вызывающую беспокойство картину. В период с 28 февраля по 2 апреля многие из них видели во сне нечто довольно странное, причем интенсивность сновидений была заметно выше в период лихорадки скульптора. Более четверти сообщений содержали описание сцен и подобию звуков, похожих на рассказанные Уилкоксом; некоторые из опрошенных признавались, что

испытали сильнейший страх пред гигантским нечто, появлявшимся под конец сна. Один из случаев, описанный особенно подробно, закончился весьма печально. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам, в день начала болезни Уилкокса впал в буйное помешательство и почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа, пока не скончался несколько месяцев спустя. Если бы мой дед в своих записях вместо номеров указывал подлинные имена своих корреспондентов, я смог бы предпринять собственные попытки расследования, но, за исключением отдельных случаев, такой возможности не было. Вся эта группа опрошенных дала вполне внятные описания. Мне было бы интересно узнать об отношении всех них к исследованиям профессора. Мне кажется, хорошо, что они так и не получили каких-либо разъяснений.

В газетных вырезках, как я установил, описывались различные случаи необъяснимой паники, психозов, проявлений различных маний и странного поведения, происшедшие за указанный выше период времени. Профессор Анджелл, должно быть, нанял какое-то пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а места публикаций разбросаны по всему земному шару. Здесь было сообщение о ночном самоубийстве в Лондоне, когда одинокий человек с диким криком выбросился во сне из окна. Было бессвязное письмо к издателю одной газеты в Южной Африке, в котором какой-то безумец предсказывал зловещие события на основании видений, явившихся ему во сне. Заметка из Калифорнии содержала историю о поселке теософов, обитатели которого, нарядившись в белые одежды, приготовились все вместе встречать некое «славное завершение», которое так и не случилось, тогда как публикация в индийской прессе сдержанно сообщала о серьезных волнениях среди местного населения в конце марта. Участились оргии колдунов-вуду на Гаити; корреспонденты из Африки также сообщали о каких-то волнениях в народе. Американские официальные представители на Филиппинах отмечали тревожное поведение некоторых племен, а в Нью-Йорке группу полицейских в ночь с 22 на 23 марта окружила возбужденная толпа впавших в истерику левантийцев. Запад Ирландии тоже полнился дикими слухами и пересудами, а живописец Ардуа Бооно, известный склонностью к фантастическим сюжетам, на весеннем салоне в Париже в 1926 году выставил исполненное богохульства полотно под названием «Ландшафт сновидений». Сообщения о беспорядках в психиатрических больницах были столь многочисленны, что лишь чудо могло помешать медицинскому сообществу обратить внимание на это явление и сделать выводы о вмешательстве мистических сил. Этот зловещий подбор вырезок говорил об очень многом, и сейчас я с трудом представляю, как бесчувственный рационализм мог побудить меня отложить все это в сторону. Но

тогда я нисколько не сомневался, что юный Уилкоккс узнал откуда-то о более ранней истории, упомянутой профессором.

II. История инспектора Леграсса

Вторую половину весьма объемистой рукописи составляли материалы, относящиеся к более раннему времени, придававшие видениям скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда. Профессору Анджеллу ранее уже доводилось видеть демонические очертания безымянного чудовища, ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как «Ктулху»; и все это было так интригующе и ужасающе взаимосвязано, что жадный интерес профессора к Уилкокксу и поиск дополнительных подробностей становились вполне понятны.

Первое его знакомство со всем этим связано с событиями, происшедшими в 1908 году, то есть семнадцатью годами ранее, когда Американское археологическое общество проводило в Сент-Луисе свою ежегодную конференцию. Профессор Анджелл в силу своего авторитета и признанных научных заслуг играл заметную роль во всех существенных обсуждениях и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами, требующими участия эксперта.

Главный из всех неспециалистов, вскоре оказавшийся в центре внимания участников конференции, заурядной внешности мужчина средних лет, прибыл из Нового Орлеана ради того, чтобы получить некую особую информацию, которую не смог узнать из местных источников. Его звали Джон Рэймон Леграсс, и по профессии он был полицейским инспектором. Он привез с собой и предмет, ставший причиной его визита, – каменную фигурку гротескного и омерзительного вида, судя по всему, весьма древнюю, происхождение которой было ему неведомо.

Не следует думать, что инспектор Леграсс вдруг заинтересовался археологией. Его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш или чем оно там было, оказалась конфискована в лесу в болотистой местности южнее Нового Орлеана во время облавы на предположительно вудуистское сборище; обряды, которое оно проводило, были столь необычны и мерзки, что полиция не могла отнестись к

ним иначе, как к какому-то темному культу, прежде им неизвестному, но куда более дьявольскому, чем самые мрачные разновидности вуду. О его происхождении, помимо отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего узнать не удалось; поэтому полицию интересовали любые сведения, любые комментарии специалистов, которые помогли бы понять значение устрашающего символа и благодаря этому добраться до первоисточника культа.

Инспектор Леграсс явно не ожидал, что его сообщение вызовет такой интерес. При виде привезенной им вещицы все собравшиеся ученые мужи пришли в состояние сильнейшего возбуждения, они столпились вокруг гостя, разглядывая маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с явной принадлежностью к глубокой древности, намекала на возможность заглянуть в неизвестные прежде и потому захватывающе интересные события прошлого. Опознать культурную принадлежность этой жутковатой скульптуры не удалось, но не вызывало сомнений, что тусклая зеленоватая поверхность неизвестного камня несет отпечаток многих веков и даже тысячелетий.

Фигурка, медленно переходившая из рук в руки для тщательного осмотра, была размером в семь-восемь дюймов и выполнена довольно искусно. Она представляла монстра отчасти антропоидных очертаний с головой как у осьминога, с лицом и сплетением щупалец снизу; тело было чешуйчатым, на передних и задних лапах гигантские когти, а за спиной – длинные узкие крылья. Эта тварь, казавшаяся исполненной губительного противоестественного зла, имела полноватое тело и сидела на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале с надписью непонятными значками. Кончики крыльев касались заднего края пьедестала, сиделище располагалось по ее центру, тогда как длинные кривые когти согнутых задних лап вцепились в передний край подставки и на четверть длины уходили вниз. Необычная голова была наклонена вперед, так, что кончики лицевых щупалец касались с внешней стороны огромных передних когтей, которые обхватывали выступающие колени. Существо это каким-то странным образом казалось живым, а поскольку происхождение его оставалось совершенно неведомым, воспринималось особенно страшным. Невероятно огромный возраст этого предмета был очевиден; в то же время не прослеживалось никакой связи ни с каким известным стилем искусства времен начала цивилизации – впрочем, как и любого другого периода.

Даже материал фигурки представлял собой загадку, ибо зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не походил ни на что известное геологии или минералогии. Письмена на пьедестале тоже вызывали у всех недоумение: несмотря на то, что на конференции присутствовали не менее половины мировых экспертов в области лингвистики, никто из них не смог соотнести их с известными формами. Эта надпись странными значками, подобно материалу и изображению, относилась к чему-то страшно далекому от всего известного человеку; письма казались напоминанием о древних и недоступных познанию циклах жизни, о которых у нас не было ни малейшего представления.

И все же, хотя присутствующие ученые разводили руками и безнадежно качали головами, смущенные неспособностью решить задачу, поставленную инспектором, нашелся среди них человек, увидевший смутное сходство этой фигурки монстра и надписи под ней с тем, с чем он когда-то сталкивался, о чем он и поведал с некоторой неуверенностью. Это был ныне покойный профессор Уильям Чэннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета, безоговорочно признаваемый всеми выдающимся исследователем.

За сорок восемь лет до того профессор Уэбб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических надписей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось; в глубине западного побережья Гренландии они встретились с необычным племенем вырождающихся эскимосов, религия которого, своеобразная форма поклонения дьяволу, шокировала своей чрезвычайной кровожадностью и отвратительными ритуалами. Об этой религии все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с содроганием; они говорили, что эта религия из невообразимо древних эпох, со времен задолго до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные верховному дьяволу, или «торнасуку», которые профессор Уэбб записал фонетически латинскими буквами со слов старого «ангекока», или жреца-колдуна. Но для нас сейчас наиболее важен тот фетиш, который хранили служители культа и вокруг которого танцевали верующие, когда над ледяными скалами поднималась утренняя заря. Фетиш, по словам профессора, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф, содержащий некое жуткое изображение и загадочные письма. Насколько он смог припомнить, во всех существенных чертах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежащую сейчас перед собравшимися.

Это сообщение, воспринятое присутствующими с изумлением и тревогой, крайне взволновало инспектора Леграсса; у него сразу же нашлись для профессора дополнительные вопросы. Поскольку он обратил на это внимание и тщательно записал заклинания, которые выкрикивали фанатики, арестованные его людьми на болоте, то просил профессора Уэбба как можно точнее воспроизвести звучание того, что выкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное подробное сравнение, после которого наступил момент подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз, используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И эскимосские колдуны, и жрецы с болот Луизианы пели, обращаясь к похожим внешне идолам, примерно следующее (разделение на слова предположительное, на основании пауз в пении): «Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'лайх вгах'нагл фхтагн».

У Леграсса было преимущество перед профессором Уэббом: некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов. Означало это вроде бы примерно следующее:

«В своей обители в Р'лайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа».

Только после этого инспектор Леграсс, подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа; историю, которой мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты исследователя мифологии или теософа и демонстрировала удивительную распространенность космических фантазий даже среди таких примитивных каст и парий, от которых этого менее всего можно было ожидать.

Первого ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступило полное отчаяния заявление из района болот и лагун к югу от города. Тамошние поселенцы, по большей части грубые, но дружелюбные потомки племени Лафитта, были в ужасе от непонятных явлений, происходивших по ночам. Это было несомненно колдовство, но колдовство столь кошмарное, какого они никогда не знали; несколько женщин и детей исчезли с той поры, как из глубин черного леса, куда не решался заходить ни один из местных жителей, начали доноситься зловещие звуки тамтама. Оттуда доносятся безумные крики, вопли истязаемых и леденящее душу пение, на небе видны отблески дьявольской пляски огней; всего этого, как подытожил напуганный посыльный, люди уже не могут выносить.

Итак, двадцать полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились к месту происшествия, захватив с собой в качестве проводника дрожащего от испуга местного жителя. Когда пригодная для проезда дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шли через мрачный кипарисовый лес, под сень которого никогда не проникало солнце. Вокруг были ужасного вида корни и свисающие с деревьев петли испанского лишайника, а попадавшиеся время от времени груды мокрых камней или руины сгнивших построек усиливали общее впечатление. Наконец показалась жалкая кучка лачуг, и навстречу полиции выскочили доведенные до отчаяния местные жители. Издали доносились приглушенные звуки тамтамов, а порывы ветра иногда приносили леденящие душу крики. Казалось, будто красноватый огонь просачивается сквозь бледный подлесок. Запуганные поселенцы снова забились по домам, наотрез отказываясь хоть на один шаг приблизиться к месту, где проводились нечестивые обряды, и потому инспектор Леграсс со своими девятнадцатью полицейскими двинулся через мрачный и полный ужасов лес без проводника.

Вся та местность, где сейчас находились полицейские, издавна имела дурную репутацию, и белые люди обычно избегали появляться здесь. Ходили легенды о таинственном озере, которое не видел ни один смертный и где обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами, а поселенцы шепотом рассказали, что в этом лесу в полночь вылетают из земляных нор дьяволы с крыльями летучих мышей и водят жуткие хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до д'Ибервиллей, до Ла Салле, до того, как здесь появились индейцы, до того, как появились люди, даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был самый истинный кошмар, и увидеть его означало умереть. Но видение об этом приходило во сне, и потому люди старались держаться отсюда подальше. Нынешний колдовской шабаш происходил в месте, вызывающем страх, и поселенцев, по всей видимости, само по себе место сборища пугало сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли.

Лишь поэт или безумец могли бы оценить по достоинству те звуки, что доносились до людей Леграсса, пробиравшихся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов тамтама. Существуют звуки, присущие лишь животным, и звуки, характерные для человека; и становится жутко, если их источники вдруг меняются местами. Участники разнузданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь лесную чащу и расползавшимися по ней подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени завывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых

голосов распевал страшный ритуальный призыв:

«Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'лайх вгах'нагл фхтагн».

Наконец полицейские достигли такого места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверых из них затошнило, один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушила их крик. Леграсс плеснул болотной водой в лицо потерявшего сознание, и вскоре все полицейские стояли рядом, почти загипнотизированные ужасом.

Среди болота выступал травянистый островок площадью примерно в акр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем прыгала и кривлялась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, каких могли представить и изобразить разве что художники более причудливой фантазии, чем Сайм или Энгарола. Совершенно без одежды, это отребье топталось, выло и корчилось вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы; в центре костра, проглядывая время от времени в разрывах огненной завесы, располагался большой гранитный монолит высотой примерно в восемь футов, на вершине которого, несоразмерно миниатюрная, покоилась гадкого вида резная фигурка. С десяти виселиц, расставленных по кругу через равные промежутки, свисали причудливо выгнутые тела несчастных пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тел и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии с воплями и подпрыгивая бесновалась толпа дикарей.

Возможно, это было лишь игрой воображения, но одному из полицейских, впечатлительному испанцу, послышалось, что из глубины леса, места легенд и древних страхов, доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом Д. Галвезом, я впоследствии встречался и беседовал, и он действительно оказался излишне впечатлительным. Испанец уверял, что заметил за дальними деревьями едва заметное биение огромных крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы – но, думаю, он просто слишком много наслушался про местные суеверия.

Полицейские шокированно стояли всего несколько мгновений. Затем чувство долга возобладало, и хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. В последующие пять минут шум и хаос сделались совершенно неопишными. Дубинки полицейских наносили удар за ударом, грохотали револьверные

выстрелы, и кое-кому удалось сбежать, но в итоге Леграсс насчитал сорок семь угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. Пятеро участников колдовского шабаша оказались убиты, а двоих тяжело раненных понесли на импровизированных носилках их плененные товарищи. Фигурку с монолита, конечно же, сняли, и Леграсс унес ее с собой.

Попав в результате тяжелого и изнурительного путешествия в полицейское управление, все пленники были тщательно допрошены и обследованы; все они оказались людьми смешанной крови, низкого умственного развития и слегка помешанные. Большинство из них были матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии или с португальского Брава из островов Зеленого мыса, привносила оттенок колдовства в эту разноплеменную секту. Но еще до того, как были заданы все вопросы, стало понятно, что полиция столкнулась с чем-то значительно более древним и глубоким, чем негритянское поклонение фетишу. Какими бы деградировавшими и невежественными эти люди ни были, они с удивительной согласованностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования.

По их словам, они поклонялись Великим Старцам, которые жили за многие века до того, как на земле появились первые люди, спустившись с небес в наш совсем молодой мир. Эти Старцы теперь ушли вглубь земли и под дно моря; однако их мертвые тела поведали во снах свои секреты первому человеку, и тот создал культ, который никогда не умрет. Именно тот самый культ они и поддерживают, и пленники уверяли, что он существовал всегда и всегда будет существовать, укрываясь в безлюдных пустошах и других темных местах по всему миру, до тех пор пока великий жрец Ктулху не восстанет в своей темной обители в великом городе Р'лайхе под толщей вод и не сделается владыкой мира. Однажды, когда звезды окажутся в правильной позиции, он призовет их, и этот тайный культ всегда будет готов помочь ему освободиться.

А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими истязаниями. Никогда человек не был единственным носителем сознания на Земле, ибо из тьмы приходят образы, которые достигают лишь немногих из верующих. Но это не Великие Старцы. Ни один человек никогда не видел Старцев. На резном идоле изображен великий Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто сейчас не способен прочесть древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом такого рода, что передаются

только шепотом и никогда не произносятся вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь: «В своей обители в Р'лайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа».

Лишь двое из захваченных пленников оказались достаточно вменяемыми, чтобы можно было провести суд и повесить их, всех же прочих распределили по разным психиатрическим клиникам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что эти жертвоприношения совершали Чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, расположенных с незапамятных времен в глуши леса. Но об этих таинственных союзниках больше ничего связного узнать не удалось. Все остальное, что смогла узнать полиция, в основном было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что заплывал на кораблях в довольно странные порты и беседовал с бессмертными вождями этого культа в горах Китая.

Престарелый Кастро припомнил отрывки из довольно мерзких легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов, а человек и весь наш мир представляются как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные Существа, и они создали великие города. Как рассказал ему бессмертный китаец, останки этих Существ еще присутствуют в виде циклопических камней на островах Тихого океана. Все они умерли за много эпох до появления человека, но их все еще можно оживить, когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности. Ведь Они сами пришли со звезд и принесли с собой Свои изображения.

Великие Старцы, продолжал Кастро, состоят не совсем из плоти и крови. У них есть форма – ибо разве фигурка не доказывает это? – но воплощена их форма не в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, Они смогут перемещаться между мирами, но пока звезды расположены плохо, Они не могут быть живыми. Но хотя Они больше не живы, Они никогда на самом деле не умирали. Все Они лежат в каменных обителях в Их огромном городе Р'лайхе, защищенные заклетами могущественного Ктулху, в ожидании великого возрождения, когда звезды и Земля будут готовы к их возвращению. Но и в подходящий момент для освобождения Их тел требуется содействие какой-нибудь внешней силы. Заклетья, сделавшие Их неуязвимыми, одновременно не позволяют Им сделать первый шаг, поэтому теперь они могут только лежать без сна в темноте и размышлять, в то время как бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, ибо форма их общения – передача мыслей. Поэтому даже сейчас Они разговаривают друг с

другом в своих могилах. Когда, после безвременного хаоса, на Земле появились первые люди, Великие Старцы обращались к самым чутким из них посредством того, что насылали сновидения; ибо только таким способом Их речь могла достичь сознания примитивных животных.

Благодаря этому, прошептал Кастро, эти первые люди создали культ, проводящий обряды вокруг маленьких идолов, которых показали им Великие Старцы; идолов, принесенных с темных звезд в те далекие века, память о которых уже потускнела. Культ этот никогда не исчезнет, он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тогда тайные жрецы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить Его подданных и восстановить Его власть на Земле. Распознать это время будет легко, ибо тогда все люди станут как Великие Старцы – дикими и свободными, по ту сторону добра и зла, отбросившими в сторону законы и мораль; все люди будут кричать, убивать и веселиться. Затем освобожденные Старцы раскроют им новые способы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой, и вся Земля запылает во всеуничтожающем огне свободы и экстаза. А до той поры культ, при помощи своих ритуалов, должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчества об их возвращении.

В прежние времена избранные люди могли во сне общаться с погребенными Старцами, но потом кое-что случилось. Великий каменный город Р'лайх, с его монолитами и гробницами, опустился под волны; и глубокие воды, пропитанные единой изначальной тайной, сквозь которую не проникает даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память не умирает, и верховные жрецы говорят, что город поднимется вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда восстанут погребенные черные духи Земли, темные и мрачные, знающие все слухи, давно погребенные под дном забытых морей. Но об этом престарелый Кастро не осмелится более говорить. Он резко оборвал свой рассказ, и затем не удалось ни убедить, ни заставить его сказать еще хоть что-то. Вызывает также недоумение, что он категорически отказался сказать что-либо о размерах Старцев. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди непроходимых пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности скрытый Ирем, Город Колонн. Этот культ не имеет никакого отношения к европейскому культу ведьм и практически неизвестен никому, помимо его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намек на него, хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в «Некрономиконе» безумного араба Абдулы Альхазреда есть строки с двойным смыслом, которые вступивший на путь культа способен истолковать правильно, особенно вот это многократно вызывавшее дискуссии двустишие:

Может не только мертвый лежать без движения вечно,

В странную же эпоху может и смерть умереть.

Леграсс, под глубоким впечатлением от всего этого, безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науке. Кастро, похоже, был прав, утверждая, что он остался никому неизвестным. Специалисты из университета в Тулэйне, куда обратился Леграсс, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал, и теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, но не услышал ничего более существенного, чем гренландская история профессора Уэбба.

Лихорадочный интерес, вызванный у присутствовавших специалистов рассказом Леграсса и подкрепленный продемонстрированной им фигуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь вскользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность – первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идола Леграсс на какое-то время передал профессору Уэббу, но после смерти последнего получил ее обратно, и она хранилась у него, поэтому увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Она действительно довольно жуткого вида и несомненно очень похожа на изготовленную во сне юным Уилкоксом.

Мне нисколько не удивительно, что мой дед оказался весьма взволнован рассказом юного скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть после истории Леграсса о загадочном культе, когда перед ним оказался невероятно восприимчивый молодой человек, который не только увидел во сне фигурку и точное изображение надписи странными значками, как на обнаруженных в луизианских болотах и гренландских льдах, но и узнал во сне по крайней мере три слова из тех, что присутствовали в заклинаниях эскимосских сатанистов и луизианского отребья? Профессор Анджелл тут же начал свое собственное расследование, что было вполне естественно, хотя, сказать откровенно, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом прознав об этом культе, выдумал серию так называемых «сновидений», чтобы создать такое продолжение этой истории, которое заинтересовало бы моего деда. Записи изложения сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, конечно же, серьезным подкреплением его догадок; однако мой рационализм и экстравагантность всего этого дела привели меня к заключению, который я тогда считал наиболее благоразумным. Так что, тщательно изучив рукопись еще раз и соотнеся теософические и

антропологические выписки с рассказом Леграсса, я решил совершить путешествие в Провиденс, чтобы высказать справедливые упреки скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого.

Уилкоккс все еще проживал один в апартаментах во Флер-де-Лиз-Билдинг на Томас-стрит, в здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию бретонской архитектуры семнадцатого века, оштукатуренный фасад которого громоздился среди очаровательных домиков в колониальном стиле на древнем холме прямо возле самой изумительной георгианской церкви Америки. Я застал скульптора за работой и, осмотрев хаотично расставленные по комнате произведения, понял, что передо мной несомненно выдающийся и подлинный талант. Я практически уверился, что когда-нибудь услышу о нем как об одном из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине и сможет когда-нибудь отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчен описал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в стихах и живописных полотнах.

Смуглый, хрупкого сложения и отчасти неряшливого вида, он вяло откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, поинтересовался, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес; видимо, в свое время мой дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не просветил его на этот счет, но все же постарался разговорить.

Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мои подозрения. Эти сновидения и их отпечаток на бессознательном повлияли сильнейшим образом на его творчество; он показал мне ужасного вида статую, заставившую меня вздрогнуть от сильнейшего впечатления заключенной в ней мощи темной силы. Он не припомнил никаких иных впечатлений, сподвигших его на это творение, помимо того самого сделанного во сне барельефа, причем очертания этой фигуры сами собой возникали под его руками. Это, несомненно, было очертаниями одной из гигантских теней, привидевшихся ему во время лихорадки. Довольно скоро я убедился, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда вызвали у него определенные подозрения; и тогда я снова склонился к мысли, что кошмарные образы пришли к нему каким-то образом извне.

О своих снах он рассказывал в необычной поэтической манере, благодаря чему я почти воочию узрел ужасающее видение сырого циклопического города из скользкого зеленоватого камня – сама геометрия в котором, как с недоумением заметил скульптор, была совершенно неправильной – и пугающе явственно различил непрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли: «Ктулху фхтагн! Ктулху фхтагн!».

Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами в Р'лайхе, и я ощутил глубокое волнение несмотря на свой рационализм. Я почти не сомневался, что Уилкоккс все-таки слышал раньше об этом культе, возможно случайно, мимоходом, и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодом фантазии. Позднее, из-за его острой впечатлительности, сведения о культе нашли воплощение в снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел; таким образом, мистификация могла быть непреднамеренной. Этот молодой человек относился к людям того типа, склонность к аффектации и дурные манеры которых вызывали у меня раздражение; однако это ничуть не мешало отдать должное его дарованиям и искренности. Расставался я с ним вполне дружески и пожелал ему всяческих успехов, которых его талант несомненно заслуживал.

Суть этого таинственного культа продолжала интересоваться меня, и время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культурами. Я побывал в Новом Орлеане, встречался с Леграссом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшихся в живых пленников-полукровок. Престарелый Кастро, к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученное из первых рук только подтвердило уже известное мне из рукописи деда, но все же взбудоражило меня; ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей, исключительно тайной и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме (крайне сожалею, что сейчас это уже не так), и меня крайне раздражала непозволительная алогичность совпадения по времени сновидений и событий, отраженных в собрании газетных вырезок покойного профессора Анджелла.

Но уже тогда я начал подозревать (а сегодня могу утверждать, что знаю это), что смерть моего деда была вовсе не естественной. Он упал на узкой улочке,

идущей вверх по холму, на которой полно всякого заморского сброда, после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди поклонников этого культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков, и нисколько не удивился бы, если бы они применяли отравленные иглы и другие тайные способы умерщвления, столь же бесчеловечные и древние, как их тайные ритуалы. Да, и правда, Леграсса и его людей никто не тронул, однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которые совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь чьих-то ушей? Думаю, профессор Анджелл умер потому, что слишком много знал или, во всяком случае, мог узнать слишком много. Суждено ли мне покинуть мир так же внезапно, как и он, покажет будущее, ибо уже сейчас я знаю слишком много...

III. Морское безумие

Если бы небеса откликнулись на мои мольбы, то лучшим благодеянием стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, побудившего меня приглядеться к постеленной на полке газете. Ничто иное не смогло бы заставить меня прочитать статью из этого старого номера австралийского еженедельника «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года, ускользнувшую от внимания тех, кто занимались сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда.

К тому времени я почти бросил попытки исследования того, что профессор Анджелл прозвал «культом Ктулху», и находился в гостях у одного своего друга-ученого из Патерсона, штат Нью-Джерси, куратора местного музея и довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то не участвующие в экспозиции образцы камней в запаснике музея, я обратил внимание на странное изображение на старой газете, постеленной на полку под камнями. Это как раз и был упомянутый мною «Сиднейский бюллетень», а на полутонной иллюстрации оказалось изображение мерзкой каменной фигурки, почти точно такой, как обнаруженная Леграссом на болотах.

С жадностью вытащив газету из-под драгоценных экспонатов коллекции, я внимательно прочитал статью и был разочарован разве что ее малым объемом. Содержание же, однако, оказалось необычайно важным для моих заглохших уже

было поисков, и потому я аккуратно вырезал эту статью. В ней сообщалось следующее:

НАЙДЕНО ТАИНСТВЕННОЕ БРОШЕННОЕ СУДНО

«Бдительный» прибывает с брошенной новозеландской яхтой на буксире. На борту обнаружены один живой и один мертвый. История об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странных событий. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование.

Грузовое судно «Бдительный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпараисо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире имеющую повреждения и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на паровом ходу «Тревожная» из Данедина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту.

«Бдительный» покинул Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля был вынужден значительно отклонился к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было замечено брошенное судно; яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, но затем на ней углядели живого человека в полубессознательном состоянии, а также покойника, умершего явно не менее недели назад.

Оставшийся в живых сжимал в руках страшного вида каменного идола неизвестного происхождения, высотой примерно в фут, о назначении которого специалисты Сиднейского университета, Королевского общества, а также музея на Колледж-стрит высказали полное недоумение. Сам выживший моряк заявил, что обнаружил эту вещь в салоне яхты на небольшом, совершенно стандартном резном алтаре.

Этот человек, когда пришел в чувство, рассказал чрезвычайно странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йохансенем, хорошо образованным норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла 20 февраля в Каллао,

имея на борту команду из одиннадцати человек.

По его словам, «Эмма» задержалась в пути и отклонилась к югу от своего курса из-за сильного шторма 1 марта, а 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы повстречалась с «Тревожной», на которой оказалась странная и зловещего вида команда из канаков и людей смешанной расы. Получив ультимативное требование повернуть назад, капитан Коллинз отказался выполнить его; тогда странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из медных пушек, которыми была вооружена яхта.

Команда «Эммы», как сказал выживший моряк, приняла вызов и, хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести свое судно бортом к борту яхты, перебраться на нее и вступить в схватку на ее палубе с диким экипажем, в результате которой перебили всех их – хотя те обладали численным перевесом, их яростное и отчаянное сопротивление было организовано крайне плохо.

Из экипажа «Эммы» оказались убиты трое, среди них – капитан Коллинз и первый помощник Грин; оставшиеся восемь под командой второго помощника Йохансена разобрались с управлением захваченной яхтой и направились своим прежним курсом, движимые любопытством, зачем экипаж яхты требовал от них его изменить.

На следующий день они обнаружили маленький остров и высадились на него, хотя о его существовании в этой части океана никто никогда не слышал; шестеро каким-то образом погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа Йохансен стал крайне скупым на слова и сообщил лишь, что они упали в глубокие расщелины между камнями.

Судя по всему, спустя какое-то время он и его оставшийся в живых компаньон сели на яхту и смогли справиться с управлением ею, но 2 апреля попали в шторм.

Случившееся с этого момента и до часа своего спасения 12 апреля Йохансен почти не помнит и не может указать, когда умер его напарник, Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была насильственной и произошла, судя по всему, в результате перевозбуждения или перегрева.

Из Данедина по телеграфу сообщили, что «Тревожная» была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана, и пользовалась по всему побережью дурной репутацией. Ею владела странная группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, частые сборища которой и ночные походы в лесную чащу вызывали немалое любопытство; она в крайней спешке вышла в море сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта.

Наш оклендский корреспондент сообщает, что «Эмма» и ее экипаж имели прекраснейшую репутацию, а Йохансена характеризует как трезвомыслящего и достойного человека.

Адмиралтейство распорядилось о расследовании этого происшествия, которое начнется завтра; в ходе него попытаются получить от Йохансена больше информации, чем есть в настоящее время.

Вот и вся заметка, которую сопровождал фотоснимок демонического изображения; но какую цепь догадок она у меня породила! Ведь это же были бесценные новые сведения о культе Ктулху, подтверждающие, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. С чего вдруг странный экипаж с ужасным идолом приказал «Эмме» повернуть назад, повстречавшись с ней на своем пути? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро из экипажа «Эммы» и о котором Йохансен рассказал так мало? Что открылось в результате расследования, предпринятого адмиралтейством, и что знали об этом губительном культе в Данедине? А самое удивительное, что имелась какая-то глубокая и сверхъестественная связь между датами этих событий и поворотами в других событиях, тщательно описанных моим дедом.

1 марта – у нас это было 28 февраля из-за разницы во времени между часовыми поясами – имели место землетрясение и шторм. Из Данедина «Тревожная» со своим неприятным экипажем отбыла весьма поспешно, как будто по чьему-то настоятельному требованию, и в тот же момент на другом конце земли поэты и художники в своих снах начали видеть странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор, не просыпаясь, вылепил из глины фигурку наводящего ужас Ктулху. 23 марта экипаж «Эммы» высаживается на неведомом острове, где теряет шестерых человек; именно в этот день сны чувствительных людей обретают особую яркость, а кошмар усиливается ощущением преследования гигантским монстром; в этот же день архитектор

сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в лихорадку! Что же означает шторм 2 апреля – в день, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются, а Уилкоккс чудесным образом избавляется от странной лихорадки? Что означает все это в целом – вместе с намеками престарелого Кастро об опустившихся во глубину вод Старцах, пришедших со звезд, и об их грядущем владычестве, вместе с культом верующих в них и их способность управлять сновидениями? Неужели я балансирую на краю космического ужаса, превышающего тот предел, что может постичь и вынести человек? Если это так, то об этом не должен узнать более никто, ибо второго апреля эта чудовищная угроза, уже начавшая разъедать душу человечества, каким-то образом оказалась остановлена.

Тем же вечером, отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого был в гостях, и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Данедине, но, однако, в портовых тавернах мало что знали о служителях странного культа. Разного рода отбросы общества не были темой, достойной упоминания, но все же имелись смутные слухи насчет одного их путешествия в глубь острова, во время которого с тех отдаленных холмов доносились приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени.

В Окленде я узнал, что после возвращения Йохансена его русые волосы оказались совершенно седыми; пройдя небрежный и неполноценный допрос в Сиднее, он продал свой особняк на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. Другьям о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем сообщил представителям адмиралтейства, но они смогли дать мне его адрес в Осло.

После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и с представителями адмиралтейского суда. Я увидел на Круговом причале Сиднейской бухты «Тревожную», ныне проданную и используемую как торговое судно, но это не добавило ничего к моим сведениям. Скрюченная фигурка с головой как у каракатицы, драконьим туловищем, крыльями и с надписью странными значками на пьедестале теперь хранилась в музее сиднейского Гайд-Парка; я долго и внимательно рассматривал ее, признав вещь, выполненной с исключительным мастерством, столь же таинственной, пугающе древней и из того же странного неземного материала, как и меньший по размеру экземпляр Леграсса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, ибо на земле не существует камня, подобного тому, из которого она сделана. Затем я с содроганием

вспомнил слова престарелого Кастро, сказанные Леграссу о происхождении Великих Старцев: «Они сами пришли со звезд и принесли с собой Свои изображения».

Все это настолько ошеломило меня, что я направился в Осло специально для встречи с Йохансеном. Доплыв до Лондона, я перебрался на корабль, следующий в норвежскую столицу, и в один прекрасный осенний день ступил на набережную в тени замка Эгеберга.

Я узнал, что Йохансен проживал в Старом Городе короля Харольда Хаардредра, сохранявшем имя «Осло» даже на протяжении всех тех веков, пока окружающий его город маскировался под именем «Христиания». Совершив короткую поездку на такси, вскоре я с бьющимся от волнения сердцем постучал в дверь опрятного старинного домика с оштукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и, с трудом говоря по-английски, сообщила ошелобившую меня новость – Густав Йохансен умер.

После возвращения он прожил совсем недолго, сказала его жена, ибо события 1925 года надломили его. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным, но оставил большую рукопись – касательно «технических вопросов», по его словам, – написанную на английском, вероятно для того, чтобы жена случайно с нею не ознакомилась. Как-то во время прогулки по узкой улочке близ Готенбургского дока на него из окна мансарды одного из домов упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое ласкаров, матросов-индийцев, помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия врача. Медики не смогли установить причину смерти и приписали ее сердечной недостаточности и общему ослабленному состоянию.

С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх, и я знаю, что он не оставит меня, пока я тоже не найду свой конец, «случайно» или еще как-то. Убедив вдову, что имею вполне конкретное отношение к тем «техническим вопросам», о которых написал ее муж, я смог получить рукопись в свое полное распоряжение и начал читать ее на обратном пути в Лондон.

Это оказалось непритязательным и довольно бессвязным сочинением – попыткой простого моряка задним числом записать дневник происшедших событий – восстановить, день за днем, то ужасное последнее путешествие. Не буду даже пытаться приводить его дословно, ввиду невнятности изложения, повторов и перегруженности лишними подробностями, но постараюсь изложить общий

сюжет, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющей в борта корабля, постепенно стал для меня настолько невыносимым, что пришлось затыкать уши ватой.

Йохансен, слава Богу, хотя увидел и город и ту Тварь, узнал далеко не все, но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть, помня о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью, о проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас под толщей морских вод, которым поклоняется зловещий культ, готовый призвать их к власти над нашим миром, когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения.

Путешествие Йохансена началось в точности так, как он сообщил в адмиралтействе. «Эмма», для устойчивости загруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и испытала на себе полную силу той бури, вызванной подземным толчком, что подняла со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Как только корабль снова стал управляемым, он тут же поплыл дальше, пока не был атакован «Тревожной» 22 марта, и я почувствовал горечь и сожаление в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подверглась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицых служителях культа, находившихся на борту «Тревожной», он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное, из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом, и потому Йохансен с искренним недоумением воспринял обвинение экипажа шхуны в жестокости, прозвучавшее во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йохансена, пока, в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы, не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили примитивную, но циклопическую каменную кладку – не что иное, как материализованный ужас нашей планеты, кошмарный город-труп Р'лайх, построенный бесчисленные века назад гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там покоились великий Ктулху и его несметные полчища, скрывающиеся под осклизлыми зелеными каменными сводами, уже бесчисленные столетия насылающие те самые ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающие своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йохансен обо всем этом не подозревал, но, видит Бог, вскоре он увидел более чем достаточно!

Предполагаю, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, в которой покоится великий Ктулху. Когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня

посетила мысль о самоубийстве. Йохансен и его матросы прониклись благоговейным трепетом перед лицом космического величия этого затонувшего Вавилона древних демонов и догадались без всякой подсказки, что это не могло быть творением обитателей ни нашей, ни какой-либо другой обычного типа планеты. В каждой строке повествования бывшего помощника капитана ощущается трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного монолита с высеченной фигурой, от ошеломляющего сходства колоссальной статуи-барельефа со странной фигуркой, обнаруженной на корабельном алтаре «Тревожной».

Не имея никакого представления о футуризме, Йохансен почти в точности следовал ему, рассказывая о городе, ибо вместо точного описания какого-либо сооружения или здания ограничивался только общим впечатлением от гигантских плоскостей или каменных поверхностей – поверхностей слишком больших, чтобы их мог создать кто-то из обитателей этой планеты, – покрытых к тому же устрашающими изображениями и письменами. Я обращаю здесь внимание на его высказывания об углах, поскольку оно напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о своих сновидениях. Он сказал, что сама геометрия пространства, явившегося ему во сне, была неправильной, неевклидовой и пугающе обильной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, малограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность.

Йохансен и его команда высадились на отлогий илистый берег этого чудовищного акрополя и стали карабкаться, соскальзывая, наверх по титаническим, сочащимся влагой каменным блокам лестницы, явно предназначенной не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой, а в норовящих ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность – второй взгляд обнаруживал впадину на том месте, на котором первый замечал выпуклость.

Нечто очень похожее на испуг охватило всю команду еще до того, как они увидели хоть что-то помимо камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы обратно, если бы не опасался насмешек от остальных, и все только делали вид, будто ищут чего-то – совершенно напрасно, как стало потом понятно, – какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте.

Португалец Родригес, первым забравшийся к подножию монолита, крикнул, что увидел нечто интересное. Остальные поспешили присоединиться к нему, и все с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йохансен, на дверь огромного амбара; все сразу поняли, что это именно дверь, из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя не смогли разобраться, располагается ли она горизонтально, как дверь-люк, или стоит под наклоном, как дверь внешнего погребца. Как говорил Уилкоккс, геометрия в этом месте была совершенно неправильной. Нельзя было даже с уверенностью сказать, расположены ли море и поверхность земли горизонтально, поскольку относительное расположение всего окружающего непонятным образом все время менялось.

Брайден в нескольких местах попробовал нажимать на камень, но безрезультатно. Затем Донован последовательно ощупал по краям всю дверь, нажимая по мере продвижения на каждый участок. Он карабкался по гигантскому покрытому плесенью камню – то есть следовало предположить, что он карабкался, если только она не располагалась все-таки горизонтально, – вызывало изумление, что во вселенной вообще может существовать дверь такого огромного размера. Затем, очень мягко и медленно, панель размером в акр начала опускаться, и они поняли, что она удерживается в равновесии.

Донован соскользнул вдоль ее края и присоединился к своим товарищам, и они все вместе наблюдали, как плита, закрывавшая чудовищный резной портал, странным образом опускается. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушенными.

Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной. Точнее, мрак этот был отсутствием материальности, и он стал расползаться наружу наподобие дыма, словно вырывался из многовекового заточения, и когда клубы врывались в сморщенное горбатое небо, будто хлопающие перепончатые крылья, солнце меркло на глазах. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад, а отличавшийся острым слухом Хокинс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпанье. И когда все прислушались, перед ними, перегородив весь проход и источая слизь, появилось Оно и стало протискивать Свою зеленую желеобразную безмерность через черный проем в отравленную атмосферу этого города безумия.

С этого места рукопись бедняги Йохансена становится маловразумительной. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению двое умерли от страха тут же, на месте. Описать Тварь не представляется возможным – ибо нет языка, способного передать такую бездну вопящего и не удерживающегося в памяти безумия, такого категорического несоответствия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или ковыляющая горная вершина – о Боже! Ничего удивительного в том, что на другом конце земли сошел с ума выдающийся архитектор, а получивший телепатический сигнал несчастный Уилкоккс впал в лихорадку. Тварь, представленная на идоле, зеленое липкое звездное отродье, пробудилась, чтобы заявить свои права на наш мир. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего не удалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведающих моряков. После многих вигинтиллионов лет великий Ктулху оказался вызволен из заточения и жаждал насладиться этим.

Троих смело гигантскими когтями прежде, чем кто-то успел повернуться к берегу. Да упокоит Господь их души, если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэрера и Ангстром. Паркер поскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытым зеленой коркой, и Йохансен клялся, что структура кладки словно проглотила Паркера, когда он свалился и оказался под углом, какого не может быть в нашем мире. Так что до лодки добежали только Брайден и сам Йохансен: они отчаянно принялись грести к «Тревожной», а гороподобное чудовище спустилось по слизким камням и в нерешительности бродило у края воды.

Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошной беготни из рубки в машинное отделение и обратно им удалось отплыть. Медленно набирая ход, несмотря на неопишное искажение всего окружающего, «Тревожная» начала вспенивать эту несущую смертельную опасность воду, тогда как титаническая Тварь на краю нагромождения камней, которое никак нельзя было назвать «берегом», бормотала что-то и пускала слюни, подобно Полифему, посылающему проклятия вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху, оказавшийся смелее, чем легендарные циклопы, шлепнулся в воду начал преследование, поднимая гигантские волны гребками космической мощи. Брайден оглянулся – и потерял рассудок; с того момента он непрерывно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока наконец не умер ночью в рубке, в то время как Йохансен в полном отчаянии бродил по палубе.

Однако Йохансен все же не сдался. Зная, что Тварь без труда настигнет «Тревожную», даже если идти на всех парах, он решился на отчаянный шаг: запустив двигатель на самый полный ход, взбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны и закипела соленая вода, тогда как двигатель завывал все громче и громче, а храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной словно корма дьявольского галеона. Ужасная голова с извивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты, но Йохансен упрямо вел корабль вперед.

Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь, и вместе с тем был отвратительное ощущение разрезаемой титанической медузы, сопровождаемое зловонием тысячи разверстых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль в миг накрыло едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой; и хотя – всемилостивый Боже! – разметавшиеся клочья не имеющего названия звездного отродья постепенно воссоединялись в свою ненавистную первоначальную форму, расстояние между ним и яхтой стремительно увеличивалось.

Все закончилось. С того момента Йохансен лишь сидел в рубке, поглядывая поверх фигурки идола, да время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той отчаянной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью иссякли. Затем случился шторм 2 апреля, и сознание Йохансена начало затуманиваться. Он ощущал лишь призрачное вихревое кружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенные на хвосте кометы, истерическое метание из бездны на луну и обратно в бездну, сопровождавшиеся хохотом веселящихся древних богов и зеленых, обладающих перепончатыми крыльями, гримасничающих бесов Тартара.

Где-то за пределами этого сна пришло спасение – «Бдительный», суд адмиралтейства, улицы Данедина и долгое возвращение на родину, в старый дом возле замка Эгеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся – его приняли бы за сумасшедшего. Он хотел, пока еще жив, описать происшедшее, но так, чтобы жена ни о чем не подозревала. Смерть представлялась ему благословением свыше, если только могла стереть все из его памяти.

Вот каков был документ, который я прочел, а затем положил в жестяной ящик с барельефом и бумагами профессора Анджелла. Сюда же я помещу и свои

собственные записи – это будет свидетельством моего здравого рассудка, – соединяющие в единую картину то, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. Я заглянул в глаза самого великого ужаса Вселенной, и с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йохансен, так и мне предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много, а культ все еще жив.

Ктулху тоже по-прежнему существует и, предполагаю, снова пребывает в каменной пропасти, хранящей его с тех времен, когда наше солнце было молодым светилом. Его проклятый город снова ушел под воду, ибо «Бдительный» беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма; но его служители на Земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвы в пустынных местах возле увенчанных фигурками идола монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездонной черной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадках безумия. Кто знает, чем все закончится? Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение мерзости спит, дожидаясь своего часа, в глубине, и смрад порчи расплзается над гибнущими городами людей. Настанет время... Но я не должен и не могу об этом думать! Молю лишь о том, что если мне не доведется пережить эту рукопись, то пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не позволят прочесть ее другим людям.

1928

Данвичский ужас

Горгоны, гидры и химеры – страшные рассказы о Келено и гарпиях – могут воспроизводиться в голове суеверного человека – однако они существовали в нашем мире прежде. Все это – копии, типы – точнее архетипы, которые есть в нас и существуют извечно...

...Иначе как же могло бы затрагивать нас то, что мы считаем выдумкой?.. Разве ужас мы испытываем тогда, когда считаем, что нечто способно причинить нам

физическую боль? – О, вовсе нет! Эти страхи имеют более древнее происхождение. Основа их лежит за пределами тела – иначе говоря, даже не будь у нас тела, они бы все равно оказывали воздействие...

...Тот страх, о котором мы говорили, чисто духовной природы; то, что он силен, не будучи привязан ни к какому земному объекту, и то, что он преобладает в период нашего безгреховного младенчества – это затрудняет поиск способа проникнуть в глубины нашего до-земного бытия и хотя бы одним глазком заглянуть в царство теней предсуществования.

Чарльз Лэмб. «Ведьмы и другие ночные страхи»

I

Если, путешествуя по северным районам центральной части Массачусетса, на развилке дороги в Эйлсбери близ Динз-Корнерс повернуть не в ту сторону, вы окажетесь в пустынном и любопытном месте. Местность становится холмистой, а обсаженные вереском каменные стены все ближе подбираются к пыльной извилистой дороге. Деревья в многочисленных полосах леса кажутся слишком большими, а дикие травы, сорняки и заросли куманики чувствуют себя здесь куда вольготнее, чем в обжитых районах. В то же время возделываемые поля становятся более скудными и встречаются все реже; при этом немногочисленные разбросанные здесь дома несут на себе удивительно сходный отпечаток большого возраста, разрушения и запущенности. Неизвестно почему, обычно путешественники не решаются спросить дорогу у одиноких людей грубоватой наружности, попадающихся там и сям на полуразвалившихся крылечках или на наклонных лугах среди разбросанных камней. Они кажутся такими тихими и вороватыми, что подозреваешь рядом чего-то запретное, от чего лучше держаться подальше. Когда дорога поднимается так высоко, что видишь горы над темными лесами, ощущение смутной тревоги усиливается. Вершины кажутся слишком округленными и симметричными, чтобы давать чувство комфорта и естественности, а порой на фоне неба с особой четкостью вырисовываются странные круги из высоких каменных колонн, которыми увенчаны здесь большинство вершин.

Дорога пересекает узкие ущелья и овраги значительной глубины, а грубо сколоченные мосты через них кажутся довольно опасными. Затем дорога снова спускается и проходит по болотистой местности, вызывающий инстинктивную

неприятнь, а по вечерам – почти страх из-за стрекота невидимых козодоев, светлячков, в необыкновенном изобилии танцующих под скрипучее пение жаб. Узкая сверкающая лента Мискатоника в его верховьях, огибающая подножия куполообразных холмов, очень напоминает змею.

По мере приближения к холмам их покрытые густыми лесами склоны начинают вызывать большие опасения, чем увенчанные камнями вершины. Хочется оставить в стороне эти темные и крутые склоны, но здесь нет дороги, позволяющей держаться от них на почтительном расстоянии. После крытого мостика начинается городок, зажатый между рекой и крутым склоном Круглой горы, удивляющий видом своих полусгнивших двускатных мансардных крыш – архитектура их говорит скорее о давности постройки, а не о местных традициях. Большинство домов заброшены и готовы обвалиться, а в церкви с обломанным шпилем обосновалась единственная во всем поселении торговая лавка.

Довериться темному тоннелю крытого мостика кажется жутковатым, но другого пути нет. А едва переберешься на другую сторону, сразу ощущаешь слабый, но скверный запах здешних улиц – запах плесени и многолетнего гниения. Покидая это место, обычно испытывают облегчение; узкая дорога огибает затем подножия холмов, пересекает почти гладкую равнину и, наконец, воссоединяется с главной трассой в сторону Эйлсбери. Но если вы проявите любопытство, то можете узнать, что побывали в Данвиче.

Посторонние в Данвич стараются не заглядывать, а после одного периода непрерывного ужаса это название убрали со всех указателей. С эстетической точки зрения окружающий ландшафт здесь более чем прекрасен; тем не менее здесь не бывает ни художников, ни просто летних туристов. Пару веков назад, когда над рассказами о ведьмовстве, служителях сатаны, ведьминой крови и странных лесных тварях никто не посмеивался, этой местности старались всячески избегать. В наш рациональный век – хотя все сведения о данвичском ужасе 1928 года были тщательно скрыты стараниями людей, искреннее беспокоящихся о благополучии этого городка, да и всего нашего мира – люди, сами не зная почему, по-прежнему остерегаются этого места. Возможно, одна из причин – хотя это объяснение неприменимо в отношении неинформированных путешественников – то, что местные жители заметно опустили, ушли довольно далеко по пути регресса и упадка, характерного для многих захолустных уголков Новой Англии. Обитатели таких мест образуют особую расу, для которой свойственны признаки умственного и физического вырождения и последствия близкородственных кровных связей. Средний уровень их интеллектуального развития удручающе низкий, а их летописи изобилуют порочностью, убийствами, кровосмешениями и почти неопишуемой жестокостью и извращенностью.

Местная мелкая знать, представленная несколькими гербоносными семьями, переселившимся сюда из Салема в 1692 году, еще как-то удерживается над уровнем общей деградации; хотя многие ветви этих семей настолько смешались с общей массой, что только фамилии напоминают об их происхождении. Некоторые из Уэйтли и Бишопов все еще посылают своих старших сыновей в Гарвардский или Мискатоникский университеты, но сыновья эти обычно не возвращаются под ветхую крышу дома, где родились они сами и их предки.

Никто, даже те, кто знает правду о недавних ужасных событиях, не может объяснить, что же с Данвичем не в порядке; между тем предания рассказывают о тайных собраниях и греховных обрядах индейцев, на которых они вызывали призраков с больших круглых холмов, исступленно взывая к ним, и это сопровождалось громким треском и грохотом, доносившимися из-под земли. В 1747 году преподобный Авия Хоадли, недавно назначенный в конгрегационалистскую церковь Данвич-Вилледж, произнес памятную проповедь по поводу близкого соседства Сатаны и его бесов; в ней он говорил следующее:

«Нужно признать, что Богохульства inferнальной Свиты Демонов слишком заметны, чтобы их можно было игнорировать: проклятые Голоса Азазеля и Базраэля, Веельзевула и Велиала доносятся до нас сейчас из Подземного мира, что подтверждают заслуживающие доверия Свидетели, ныне живущие. Я сам не далее как две недели назад явственно слышал Речь дьявольских Сил под Холмами за моим Домом; она сопровождалась Треском и Грохотом, Стоном, Скрежетом, Шипом и Свистом, издавать какие неспособна ни одна Тварь на этой Земле, доносящимися, несомненно, из тех Пещер, доступ к которым дает только черная Магия, а отмыкает один лишь Дьявол».

Мистер Хоадли исчез вскоре после этой проповеди, однако сохранился текст ее, отпечатанный в Спрингфилде. Сообщения о странных звуках в холмах продолжают поступать год от года и по-прежнему остаются загадкой для геологов и физиографов.

Другие предания сообщают о неприятных запахах вблизи венчающих холмы колец из каменных колонн, о воздушных потоках, шум которых слышен только из определенной точки на дне глубокого оврага; и есть предания о так называемом Хмельнике Дьявола – склоне холма, полностью лишенном растительности. А еще местные жители смертельно боятся многочисленных в этих краях козодоев, которые заводят свои песни теплыми ночами. Они уверены,

что эти птицы – проводники в загробный мир, караулящие души умирающих, и что они кричат в унисон с последними тяжелыми вздохами. Если им удастся поймать летящую душу, когда та покидает тело, они тут же улетают с ней, издавая дьявольский смех; если им не удастся этого, их крики постепенно замолкают.

Эти выдумки, конечно, давно устарели и сейчас звучат курьезно; однако они пришли к нам с очень древних времен. Данвич и в самом деле был очень старым поселением – древнее, чем любое другое в пределах тридцати миль от него. К югу от городка еще до сих пор сохранились стены погребца и дымоход древнего дома Бишопов, возведенного еще до 1700 года; а руины мельницы у водопада, построенной в 1806 году, это самое современное здание. Промышленность в этих краях не прижилась, а появившееся в девятнадцатом веке стремление строить повсюду фабрики оказалось недолговечным. Старейшие сооружения здесь – круги на вершинах холмов, образованные огромными грубо вытесанными каменными колоннами, но их обычно относят к деятельности индейцев, а не более поздних поселенцев. Россыпи черепов и человеческих костей внутри этих кругов, а также возле огромного камня в форме стола на Сторожевом холме, свидетельствуют в пользу распространенных представлений о том, что подобного рода сооружения были местами массовых погребений покумтуков[4 - Группа мелких индейских племен, проживавшая в долине реки Коннектикут от западного Массачусетса до юго-западного Нью-Гэмпшира. В результате войн и переселений перемешались с другими племенами.], хотя многие этнологи считают такую трактовку полным вздором, настаивая на том, что это останки людей европеоидной расы.

II

Именно возле Данвича, в большом и частично необитаемом фермерском доме в основании склона холма, в четырех милях от городка и в полутора милях от ближайшего жилья 2 февраля 1913 года, в воскресенье, в 5 часов утра родился Уилбур Уэйтли. Эту дату запомнили, потому что в тот день было Сретение, которое в Данвиче отмечают под другим названием, а еще и потому что всю ночь от холмов доносился грохот, и все собаки в округе непрерывно заливались лаем. Менее важным представляется то обстоятельство, что мать его была из угасающего рода Уэйтли, непривлекательная альбиночка 35 лет с обезображенным лицом, проживавшая со своим престарелым полусумасшедшим отцом, о колдовских делах которого во времена его молодости ходили жутковатые истории.

Мужа у Лавинии Уэйтли не было, но она, в соответствии с местными традициями, не стала отказываться от ребенка; в соответствии с этими же традициями местные жители могли – и делали это – судачить о предполагаемом отце ребенка сколько им вздумается. Более того, казалось, что Лавиния даже гордится своим темноволосым смазливим младенцем, внешность которого составляла разительный контраст с ее болезненного вида лицом альбиноски с красными глазами, и многие не раз слышали, как она бормочет странные пророчества относительно его необыкновенных возможностей и потрясающего будущего.

Такие пророчества вполне соответствовали обычному поведению Лавинии, ибо она вела одинокий образ жизни, часто бродила по холмам во время грозы и пыталась читать ветхие тома, собранные семейством Уэйтли за два века и унаследованные ее отцом, изъеденные червями и разваливающиеся на части. Лавиния ни разу не была в школе, но старик Уэйтли напичкал ее обрывками древних знаний. Местные жители сторонились их одинокого фермерского дома из-за предполагаемых занятий стариком Уэйтли черной магией; репутация этого дома стала еще хуже после таинственной насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся, когда Лавинии было двенадцать лет. Оказавшись во всем этом странном окружении в одиночестве, Лавиния часто погружалась в грандиозные и безудержные грезы наяву и вообще предавалась странным занятиям; ее досуг не красили хлопоты по дому, в котором давно исчезли чистота и порядок.

В ночь, когда Уилбур появился на свет, люди слышали ужасный вопль, заглушивший собачий лай и доносившийся от холмов грохот; ни врач, ни повивальная бабка при этом рождении не присутствовали. Соседи узнали о новорожденном только через неделю, когда старик Уэйтли приехал по снегу на санной повозке в Данвич-Вилледж и обратился с почти бессвязной речью к группе зевак возле лавки Осборна. Казалось, в старике произошла какая-то перемена – появилась настороженность в его поведении, странным образом преобразовавшая старика из устрашающего в уstraшенного, хотя он был не таким человеком, которого могли бы обеспокоить какие-либо заурядные человеческие события в его семье. В дополнение к этому в нем была заметна гордость, позднее замеченная и у его дочери, а сказанное им по поводу возможного отца ребенка услышавшие не раз вспоминали и годы спустя.

«Меня не волнует, что подумают соседи, но если парень Лавинии похож на своего папу, то он будет не похож ни на что, к чему вы привыкли. Не следует

полагать, что люди везде такие же, как здесь. Лавиния много читала и видела кое-что такое, о чем вы знаете только по слухам. А избранный ею мужик ничуть не хуже любого по эту сторону Эйлсбери; и если бы вы знали про наши холмы то, что известно мне, то понимали бы, что никакое венчание в церкви ей не требуется. Поверьте в мои слова: настанет день, и вы, парни, услышите, как дитя Лавинии прокричит имя своего отца с вершины Сторожевого холма».

Из посторонних в первый месяц жизни Уилбура его видели только старый Захария Уэйтли, из тех Уэйтли, что еще не совсем деградировали, и Мейми Бишоп, невенчанная жена Эрла Соьера. Мейми заглянула к ним в гости из чистого любопытства, и рассказы об этом делают честь ее наблюдательности; Захария же привел пару олдернийских коров, которых старик Уэйтли приобрел у его сына Кертиса. С этой сделки начались регулярные закупки скота семейством маленького Уилбура, завершившиеся лишь в 1928 году, когда начался и закончился данвичский ужас; тем не менее ветхий хлев Уэйтли никогда не казался переполненным скотиной. Спустя какое-то время это стало вызывать такое любопытство, что некоторые из соседей попытались тайком сосчитать стадо, беспризорно пасущееся на склоне за старым фермерским домом, но в нем ни разу не оказывалось более десяти-двенадцати худосочных вялых животных. Очевидно, какая-то хворь или зараза, вероятно, вызванная плохим пастбищем или вредным грибком и гнилым деревом грязного скотного двора, приводила к падежу скота. На телах животных были заметны странного вида раны и болячки, похожие на следы порезов; а несколько раз, еще в первый год жизни ребенка, некоторые гости замечали такие же ранки над горлом седого небритого старика и его дочери-альбиноски, белокурой и серолицей.

Весной того же года, когда родился Уилбур, Лавиния вернулась к бесцельным блужданиям по окрестным холмам, держа в миниатюрных руках смуглолицего младенца. Всеобщее любопытство к делам семейства Уэйтли постепенно сошло на нет, по мере того как большинство жителей смогли посмотреть на мальчика, но никто не задумался о быстром развитии ребенка, взрослевшем, казалось, с каждым днем. Скорость роста Уилбура действительно была феноменальной, ибо спустя три месяца после рождения он достиг размеров и физической силы, какие редко наблюдаются у детей до одного года. Его движения и даже издаваемые звуки отличались сдержанностью и осмотрительностью, не характерными для младенца, и никто не ожидал, что уже в семь месяцев он начнет ходить без посторонней помощи, а еще через месяц будет делать это уверенно.

Еще какое-то время спустя, на Хэллоуин, в полночь люди видели большое пламя на вершине Сторожевого холма, там, где в окружении древних костей лежал огромный камень в форме стола. Широко судачить об этом стали после того, как Сайлас Бишоп – из благополучных Бишопов, – рассказал, что примерно за час появления пламени видел, как мальчик уверенно бежал впереди своей матери вверх по склону холма. Сайлас, загонявший назад отбившуюся от стада телку, почти позабыл о своей миссии, заметив в колеблющемся свете фонаря эти две фигуры. Они почти бесшумно неслись через мелкий кустарник, и пораженному наблюдателю показалось, что они совершенно раздеты. Спустя некоторое время он не был уверен в этом относительно мальчика и говорил, что на нем, похоже, были ремешок с бахромой и темные трусы или короткие штанишки. Позже никто и никогда не видел, чтобы, находясь в здравом уме, Уилбур не был тщательно застегнут на все пуговицы, и малейший беспорядок в одежде и даже угроза подобного беспорядка пробуждали в нем тревогу и гнев. Это представляло разительный контраст с его неопрятными матерью и дедом и вызывало у всех недоумение до тех пор, пока ужас 1928 года не дал сему факту абсолютно исчерпывающее объяснение.

На следующий год в январе главным предметом сплетен оказалось то, что «чернявый ублюдок Лавинии» начал разговаривать, и это при возрасте всего лишь в одиннадцать месяцев. Его речь была примечательна не только отсутствием местного акцента, но и тем, что не напоминала детский лепет, обычно сохраняющийся у детей до трех-четырёхлетнего возраста. Мальчик был не особенно разговорчив, но когда говорил, в его речи чувствовалось нечто неуловимое, совершенно не характерное для Данвича и его обитателей. Странность была не в том, что он говорил, и даже не в примитивных идиомах, которые он использовал, но скорее относилась к звучанию его голоса или действию тех частей его тела, что отвечали за формирование звуков. Лицо его было примечательно своей взрослостью; ибо хотя он и унаследовал от матери и деда отсутствие подбородка, однако прямой и вполне уже сформировавшийся нос в сочетании с выражением больших, темных, почти латинского типа глаз придавал ему облик почти взрослого человека со сверхъестественным интеллектом. Тем не менее, несмотря на блестящую внешность, он был чрезвычайно уродлив; что-то козлиное или звериное было в его отвислых губах, желтоватой коже с большими порами, жестких курчавых волосах и причудливо удлинённых ушах. Довольно скоро его невзлюбили еще сильнее, чем его мать и деда, и все догадки насчет него теперь увязывались с прежней склонностью к магии старика Уэйтли, который однажды заставил холмы содрогнуться, стоя посреди круга из каменных столбов на вершине одного из них, держа в руках раскрытую книгу и выкрикнув ужасное имя «Йог-Сотот». Собаки ненавидели

мальчика, и ему всегда приходилось принимать какие-то меры защиты, когда они с лаем бросались в его сторону.

III

Старик Уэйтли тем временем продолжал приобретать скот, хотя стадо его от этого не увеличивалось. Кроме того, он напилел бревен и занялся восстановлением заброшенных частей дома – довольно большого сооружения с остроконечной крышей, задняя часть которого практически уходила в скалистый склон холма, трех сносно сохранившихся комнат которого на основном этаже всегда вполне хватало для проживания самого старика и его дочери. Должно быть, в старике сохранился немалый запас сил, позволивший ему завершить этот каторжный труд, и хотя время от времени он чего-то бессвязно лепетал, в целом плотницкие работы, похоже, оказали на него положительное влияние. Началось это еще до рождения Уилбура – одна из мастерских была вдруг приведена в порядок, заново обшита досками и снабжена новым крепким замком. Теперь же, занимаясь восстановлением заброшенной мансардной части дома, он показал себя старательным мастером. Помешательство его проявилось, пожалуй, только в том, что он тщательно заколотил досками все окошки восстановленной части дома – впрочем, многие полагали, что сама по себе забота о восстановлении такого дома уже признак безумия. Гораздо более разумным казалась отделка одной из комнат наземного этажа для появившегося у него внука – эту комнату некоторые из гостей видели, тогда как на полностью переделанную мансарду никого не пускали. В комнате для внука он устроил крепкие стеллажи до самого потолка, на которых постепенно начал в продуманном порядке размещать все подпорченные древние книги и их фрагменты, что прежде были беспорядочно свалены в углах разных комнат.

«Некоторые из них мнегодились, – говорил он, подклеивая порванные листы с помощью специально сваренного на поржавевшей кухонной печи клея, – но мальчик сможет использовать их значительно лучше. Он наверняка постарается усвоить из них как можно больше, и они дадут ему все нужные знания».

В сентябре 1914 года, когда Уилбуру исполнилось год и семь месяцев, его размеры и развитие начали вызывать беспокойство у окружающих. Он вырос в четырехлетнего ребенка и разговаривал свободно и невероятно разумно. Малыш без труда бегал по полям и холмам, сопровождая мать во всех ее блужданиях. Дома он сосредоточенно и прилежно изучал причудливые рисунки и карты в

книгах своего дедушки, а старик Уэйтли обучал его в форме вопросов и ответов долгими и тихими послеполуденными часами. Труды по восстановлению дома к этому времени были завершены, и всех, кто его видел, удивляло, зачем одно из окошек мансарды заменено прочной, обшитой досками дверью. Окно это было в заднем торце, со стороны холма; и никто не мог вообразить, для чего к нему возведена из досок наклонная дорожка от самой земли. После того как все эти работы по дому завершились, было замечено, что старая мастерская, без окон и обшитая заново досками, всегда тщательно запертая с момента появления Уилбура, вновь оказалась заброшенной. Дверь ее была небрежно прикрытой, и когда Эрл Соьер однажды заглянул внутрь, после того как пригнал старику Уэйтли очередную партию скота, его изумил странный запах этого помещения – такое зловоние, утверждал он, ему доводилось встречать разве что возле оставшихся от индейцев кругов из каменных столбов на вершинах холмов, запах чего-то нездорового или вообще не из нашего мира. Но, впрочем, дома и сараи Данвича никогда не источали приятных ароматов.

В последующие месяцы не случилось ничего значительного, что позволило всем обратить внимание на медленное, но постоянное усиление грохота, доносившегося от холмов. На Вальпургиеву ночь 1915 года произошли подземные толчки, которые ощутили даже жители Эйлсбери, а во время Дня всех святых раскаты грома из-под земли странным образом совпали со вспышками пламени – «проделками этой ведьмы Уэйтли» – на вершине Сторожевого холма, Уилбур продолжал развиваться удивительно быстро и к четырем годам выглядел как десятилетний. Теперь он много времени проводил за чтением, а разговаривал меньше, чем раньше. Молчаливость стала чертой его характера, и окружающие наконец стали замечать нечто дьявольское на его напоминающем козлиное лице. Иногда он бормотал какие-то слова на неизвестном языке, словно напевая их в причудливом ритме, отчего случайных слушателей пробирало леденящее чувство необъяснимого ужаса. Ненависть к нему всех местных собак стала настолько явной, что мальчику приходилось носить с собой пистолет, чтобы спокойно прогуливаться по городку и его окрестностям. Использование им время от времени, в силу необходимости, этого оружия не способствовало его популярности среди владельцев четвероногих защитников.

Редкие посетители, бывающие в их доме, часто заставляли Лавинию в одиночестве в основной части дома, в то время как с мансарды с заколоченными окнами доносились странные выкрики и звуки мощных шагов. Она никогда не рассказывала, чем там занимаются ее отец и мальчик, и однажды смертельно побледнела, увидев, что шуточный разносчик рыбы, заглянувший в дом,

попытался открыть дверь, ведущую на мансарду. Этот разносчик рассказывал затем посетителям лавки в Данвич-Вилледж, что ему показалось, будто оттуда доносится конский топот. Обыватели сразу же припомнили необычную дверь и сходни, а также про стремительно исчезающий куда-то скот. Затем их передернуло от страха при воспоминании о молодых годах старика Уэйтли и о странных существах, которых можно вызвать из-под земли, если принести в жертву выхолощенного бычка определенным языческим богам в правильное время. К тому же какое-то время назад заметили, что все местные собаки стали ненавидеть и бояться всю усадьбу Уэйтли столь же яростно, как прежде ненавидели и боялись юного Уилбура.

В 1917 году пришла война, и сквайр Соьер Уэйтли, председатель местной призывной комиссии, несмотря на все старания не смог изыскать в Данвиче полагающегося количества молодых мужчин, пригодных для отправки в лагерь военной подготовки. Правительство, озабоченное признаками вырождения, проявившимися во всем регионе, отправило несколько чиновников и медицинских экспертов, чтобы те внесли ясность в этот вопрос; читатели газет Новой Англии, возможно, вспомнят о результатах этого. Интерес общественности к этим исследованиям привлек внимание репортеров к семье Уэйтли, и в результате «Бостон глоуб» и «Аркхем эдвертайзер» напечатали изобилующие колоритными подробностями статьи о необыкновенно быстром развитии Уилбура, черной магии старика Уэйтли, стеллажах со старинными книгами, заколоченной досками мансарде фермерского дома и о таинственности всей этой местности, где от холмов доносится грохот. Уилбуру было в то время четыре с половиной года, а выглядел он на пятнадцать. На губах и щеках у него пробивался темно-коричневый пушок, а голос начал ломаться.

Эрл Соьер сопровождал группу репортеров и группу фотографов к дому Уэйтли и обратил их внимание на странный запах, сочившийся, казалось, с тщательно заделанной мансарды. Этот запах, сказал он, точно такой же, как тот, что он заметил в мастерской, заброшенной после того, как дом был восстановлен; и такой же, как запах, который он иногда ощущал возле круга из каменных столбов на вершине холма. Жители Данвича, читая газетные статьи, посмеивались над очевидными ошибками авторов. Также у них вызывало недоумение, почему журналисты придавали огромное значение тому факту, что старик Уэйтли всегда платил за приобретаемый скот старинными золотыми монетами. Сами Уэйтли принимали посетителей с плохо скрываемым раздражением, но не гнали их прочь и не отказывались от беседы, опасаясь вызвать подобными действиями еще большие кривотолки.

В последующее десятилетие летопись семьи Уэйтли вполне вписывается в течение жизни этого нездорового в целом общества, спокойно относящегося к странностям и возмущающегося лишь оргиями на Вальпургиеву ночь и на День всех святых. Дважды в год они возжигали огни на вершине Сторожевого холма, и тогда грохот многократно усиливался; в остальное время они занимались своими странными и зловещими делами в одиноко стоящем фермерском доме. Со временем их гости стали слышать звуки из тщательно заделанной мансарды даже тогда, когда все семейство Уэйтли находилось внизу, и задавались вопросом: быстро ли или, наоборот, крайне медленно приносятся в жертву бычки и коровы? Некоторые обыватели обсуждали возможность подать жалобу в Общество защиты животных, но далее разговоров это не продвинулось, ибо жители Данвича не любят привлекать к себе внимание внешнего мира.

Где-то в 1923 году, когда Уилбуру было лет десять, а его разум, голос, фигура и бородатое лицо создавали впечатление зрелого мужчины, в старом доме началась вторая великая перестройка. На этот раз все происходило внутри закрытой верхней части дома, и по выброшенной древесине люди заключили, что молодой человек и его дед сломали все перегородки и даже разобрали в мансарде часть пола, в результате чего образовалось обширное пространство от пола наземного этажа до двускатной крыши. Они также разобрали большой старый дымоход и приделали к печи хлипкую жестяную дымовую трубу.

Весной после всего этого старик Уэйтли обратил внимание, что все больше козодоев прилетают из лощины Холодных ключей по вечерам, чтобы посвистеть под его окнами. Он, похоже, воспринял это обстоятельство как важный знак и сказал бездельникам возле лавки Осборна, что, похоже, его время пришло.

«Они свистят созвучно моему дыханию, – сказал он, – думаю, они собираются поймать мою душу. Они прознали, что конец уже близок, и стараются не пропустить его. Когда я умру, вы, парни, узнаете, поймали они меня или нет. Если поймут, то будут петь и смеяться до самого вечера. Если нет, то будут вести себя тихо. Подозреваю, что между ними и душами, за которыми они охотятся, иногда случаются жестокие драки».

В ночь на Праздник урожая 1924 года Уилбур Уэйтли, проскакав во тьме на своей единственной лошади до лавки Осборна, срочно вызвал из Эйлсбери доктора

Хоутона. Доктор застал старика Уэйтли в очень тяжелом состоянии, работа сердца и затрудненное дыхание указывали на то, что конец близок. Неопрятная дочь-альбинос и бородатый внук стояли рядом с кроватью, в то время как сверху, откуда-то над их головами, доносились всплески или шлепки, напоминающие плеск волн. Доктора, однако, более беспокоил свист ночных птиц за окнами: казалось, целый легион козодоев выкрикивал свой нескончаемый плач, дьявольски созвучный тяжелому неровному дыханию умирающего человека. Это было жутковато и неестественно, как, впрочем, – подумал доктор Хоутон, – и все в этой местности, куда он так неохотно поехал, отозвавшись на срочный вызов.

Около часа ночи старик Уэйтли пришел в сознание, перестал хрипеть и с трудом заговорил, обращаясь к внуку: «Больше места, Уил, скоро понадобится больше места. Ты растешь, а он растет быстрее. Скоро он сможет тебе служить, мальчик. Открой врата к Йог-Сототу при помощи того длинного псалма, который найдешь на странице 751 полного издания, а затем поджигай эту тюрьму. Обычный огонь с этим не справится».

Очевидно, он окончательно спятил. После паузы, во время которой стая козодоев за окном подстраивала свои крики к изменившемуся дыханию старика, а с холмов доносился пока что слабо различимый рокот, он добавил еще немного: «Корми его регулярно, Уил, и следи за количеством; но не позволяй расти слишком быстро, а то места не хватит, и он разломает помещение и выберется наружу прежде, чем ты откроешь врата к Йог-Сототу, и тогда ничего не получится. Только те, что оттуда, смогут все преумножить... Только те старцы, если захотят вернуться...»

Удушье прервало его речь, и Лавиния вскрикнула, услышав, как отреагировали на это козодои. Так продолжалось больше часа, когда наконец речь старика оборвал финальный горловой хрип. Доктор Хоутон опустил рукой сморщенные веки на остекленевшие серые глаза, а шум и крики птиц как-то незаметно стихли до полной тишины. Лавиния всхлипнула, а Уилбур хмыкнул, услышав донесшиеся с холмов громовые раскаты.

«Они упустили его», – пробурчал он густым басом.

К этому времени Уилбур стал уже известным эрудитом в своей области, с ним были знакомы по переписке многие библиотекари в самых отдаленных местах, где хранились редкие и запрещенные древние книги. В Данвиче его ненавидели

все сильнее и боялись из-за нескольких странных исчезновений подростков, произошедших подозрительно близко к его дому; однако ему всегда удавалось остановить расследование при помощи страха или все тех же старинных золотых монет, которые, как и при жизни его деда, продолжали расходоваться на регулярную закупку скота.

Теперь он выглядел совершенно зрелым мужчиной, а рост его, достигнув среднего для взрослых людей, уже немного его превышал. В 1925 году, когда к нему заехал один из его корреспондентов из Мискатоникского университета, отбивший затем бледным и озадаченным, в нем было шесть и три четверти фута.

Все эти годы Уилбур с растущим презрением относился к своей матери, уродливой альбиноске, и в конце концов запретил ей сопровождать его при восхождении на вершину холма на Вальпургиеву ночь и на День всех святых, а в 1926 году несчастная женщина даже призналась Мейми Бишоп, что боится своего сына:

«К сожалению, я не могу рассказать тебе, Мейми, всего, что знаю о нем, – сказала Лавиния, – да теперь я уже и не все знаю. На Господа лишь уповаю, ибо не знаю ни чего хочет мой сын, ни чего он пытается добиться».

На тот раз в День всех святых грохот с вершин был сильнее обычного, но гораздо более внимание людей привлекли дружные крики множества козодоев, собравшихся, по-видимому, возле неосвященного дома Уэйтли. После полуночи их вопли перешли в демонических хохот, заполнивший все окрестности, и только к рассвету они наконец уgomонились. Затем они снялись и все полетели на юг, с запозданием на добрый месяц. В эту ночь никто из местных жителей, похоже, не умер – но бедную Лавинию Уэйтли, непривлекательную альбиноску, никто больше не видел.

Летом 1927 Уилбур отремонтировал два сарая во дворе фермы и принялся перетаскивать туда свои книги и прочее имущество. Вскоре после этого Эрл Сойер сообщил зевакам возле лавки Осборна, что в доме Уэйтли вновь начались плотницкие работы. Уилбур заколотил окна и двери основной части дома и, похоже, разбирает все перекрытия, как они с дедом сделали четыре года назад на мансарде. Он жил сейчас в одном из сараев и стал, по мнению Сойера, робким и озабоченным. Люди подозревали, что ему кое-что известно по поводу исчезновения матери, и очень немногие решались появляться вблизи его дома.

Рост Уилбура уже превышал семь футов, и не было никаких признаков, что на этом он остановится.

V

В последующую зиму произошло такое странное событие, как первая поездка Уилбура за пределы Данвича. Переписка с библиотекой Уиденера в Гарварде, Bibliotheque Nationale в Париже, Британским Музеем, Университетом Буэнос-Айреса и библиотекой Мискатоникского университета в Аркхеме не помогла ему раздобыть те книги, в которых он отчаянно нуждался; поэтому в конце концов он отправился сам – в поношенной одежде, неопрятный, обросший бородой, разговаривающий на диалекте из сельской глубинки, – чтобы ознакомиться с книгой в мискатоникской библиотеке, географически самом близком к нему источнике необходимой литературы. Почти восьмифутового роста, с дешевым чемоданом из лавки Осборна, похожий на темную и чем-то напоминающую козла горгулью, он прибыл в Аркхем, чтобы получить хранящийся под замком в библиотеке колледжа ужасный том – «Некрономикон» безумного араба Абдулы Альхазреда в латинском переводе Олая Вормия, изданный в семнадцатом веке в Испании. Он никогда прежде не бывал в городе, но отправился напрямик к университету, на территорию которого прошел, не обращая внимания на огромного сторожевого пса с белыми клыками, который с невероятной яростью и враждой лаял на Уилбура и пытался сорваться с крепкой цепи.

Уилбур захватил с собой бесценный, но неважно сохранившийся экземпляр английского перевода интересующей его книги, выполненный доктором Ди, доставшийся ему в наследство от деда, и, едва заполучил латинский перевод, сразу же занялся сравнением двух текстов с целью найти определенный фрагмент, который должен был находиться на 751 странице его собственной поврежденной книги. Это ему пришлось не вполне дружелюбно объяснить библиотекарю – тому самому эрудиту Генри Армитажу (магистр наук Мискатоникского университета, доктор физических наук университета Принстона, доктор литературы колледжа Джонса Хопкинса), который когда-то приезжал к нему на ферму, а сейчас вежливо докучал расспросами. Уилбур признался, что ищет нечто типа магической формулы или заклинания, содержащее устрашающее имя «Йог-Сотот», причем озадачен наличием расхождений, повторов и двусмысленностей, которые крайне затрудняют нахождение правильного варианта. Пока он переписывал ту формулу, которую наконец выбрал, доктор Армитаж непреднамеренно посмотрел через его плечо на открытые страницы; книга, лежащая слева, латинская версия, содержала

чудовищные угрозы миру и спокойствию человечества.

«А также не следует полагать, – гласил текст, который Армитаж в уме переводил на английский, – что человек – исконный или последний владыка Земли или что известный нам способ существования живых существ – единственный возможный. Старцы были, Старцы есть и Старцы будут. Не в том пространстве, какое мы знаем, но между пространствами, невозмутимые и первоосновные, не имеющие измерений и незримые. Йог-Сотот знает врата. Йог-Сотот и есть врата. Йог-Сотот – это и страж врат и ключ к ним. Прошое, настоящее и будущее сливаются в нем воедино. Он знает, где Старцы совершили прорыв в прошлом, и где Они сделают это вновь. Он знает, где Они ступали по земле, и где Они все еще ступают, и почему никто не может увидеть, как Они делают это. По запаху Их люди могут иногда узнать, что Они рядом, но о внешности Их никакой человек ведать не может, разве что о некоторых чертах по ниспосланным Ими к человечеству тварям, коих существует великое множество – от таких, что полностью повторяют образ человека, до таких, у которых нет ни формы, ни материальной субстанции – то есть, таких, как Они сами. Они проходят незамеченными, оставляя дурной запах, в тех безлюдных местностях, где поизносятся Слова и исполняются Обряды в подходящее для Них время. Ветер бормочет Их голосами, земля отзывается на Их помыслы. Они пригибают леса и сокрушают города, но ни лес, ни город не узрят руку, их разрушающую. Кадат среди холодных пустошей знал Их, но какому человеку ведом Кадат? В ледяной пустыне Юга и на затонувших островах Океана сохраняются камни, на которых запечатлен их знак, но кто побывал в скованном жестоким морозом городе или возле запечатанной башни, давно обросшей морскими водорослями и ракушками? Великий Ктулху – Их двоюродный брат, но даже он может видеть Их только смутно. Йа! Шаб-Ниггурат! Лишь по зловонию узнаете Их. Руки Их на горле у вас, но вы не видите Их, и обиталище Их там же, где ваше, но за охраняемым порогом. Йог-Сотот

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Эпическая поэма Джона Мильтона, впервые изданная в 1667 году в десяти книгах, описывающая белым стихом историю первого человека – Адама.

2

Доре Гюстав (1832–1883) – французский гравёр, иллюстратор и живописец.

3

«Образ мира» (фр.).

4

Группа мелких индейских племен, проживавшая в долине реки Коннектикут от западного Массачусетса до юго-западного Нью-Гэмпшира. В результате войн и переселений перемешались с другими племенами.

Купить: <https://tellnovel.me/govard-lavkraft/zov-ktulhu-sbornik-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)